

Дом по ту сторону

A detailed illustration of a demon-like figure with horns and a tail, wearing dark, ornate armor, standing on a wet stone path. The figure is looking towards a large, ancient stone church with a cross on its roof, situated in a misty, forested landscape. To the right, a massive, futuristic city with towering spires and bridges is visible, partially obscured by a large, glowing orange moon. A bright, rainbow-like light emanates from the figure's right side, illuminating the scene.

ДЕНИС ПОЖИДАЕВ

18+

Денис Пожидаев

Дом по ту сторону

«Автор»

2026

Пожидаев Д.

Дом по ту сторону / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

Есть миры, которые кажутся невозможными только потому, что мы смотрим на них из собственного дома. Когда между двумя реальностями открывается путь, каждая сторона видит в другой угрозу, чудо и нарушение привычного порядка вещей. Но самое опасное начинается не там, где сталкиваются оружие и вера, а там, где разумные существа пытаются понять друг друга — и ошибаются.

© Пожидаев Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Часть первая. Дом	6
Глава 1. Котёл	6
Глава 2. Ветер внутрь	12
Глава 3. Портрет	16
Глава 4. Худший вариант	20
Глава 5. Дом	24
Глава 6. Девять	27
Глава 7. Вода, которая течёт снаружи	32
Глава 8. Колокол	36
Глава 9. Ночь перед дверью	40
Глава 10. Дверь	42
Часть вторая. Михайлов день	45
Глава 11. Небо	45
Глава 12. Человек	48
Глава 13. Первый выстрел	51
Глава 14. Костёр	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Денис Пожидаев

Дом по ту сторону

Пролог

Из хроники брата Матиаса, монаха приората Святого Михаила у Вальдбаха

Это следовало записать ещё тогда, в сентябре, но я не записал, потому что не знал, к чему это приложить. Теперь знаю. Пишу по памяти, своей и чужой, и отделяю одну от другой, как подобает пишущему.

Послушник Михаэль уверяет, что случилось это в ночь после Воздвижения Святого Креста. Он ошибается: в ту ночь пели праздничную утреню, и он стоял в хоре рядом со мной и спал стоя, это я помню твёрдо. Значит, канун — ночь с тринадцатого на четырнадцатое сентября года Господня тысяча четыреста восемьдесят шестого. Михаэлю пятнадцать лет. Я не имею причин подозревать его во лжи, хотя имею причины подозревать в сонливости.

С его слов, после повечерия он вышел во двор по нужде и, чтобы не идти мимо кельи брата келаря, который не спит и бранится, пошёл кругом, вдоль хозяйственной стены, с фонарём. У ворот странноприимного дома, шагах в пяти от себя, он увидел, что воздух стоит не так, как стоит воздух. «Как вода в бадье, когда её качнули, — сказал он, — только без воды». Свет фонаря проходил сквозь это место и ложился на стену не там, где должен был лечь. Михаэль остановился. Тут, говорит он, ему заложило уши и поднялся ветер. Дул этот ветер не с гор и не из долины, а со всех сторон разом в одну точку, туда, где стоял неправильный воздух, и тянул так, что огонь в фонаре лёг плашмя и погас, а самого Михаэля дёрнуло за подол и повалило на колени. Он слышал, как мимо него по камням прошуршала солома с крыльца. Он слышал, как на воротах странноприимного дома хлопнуло и зашуршало вслед за соломой. Потом раздался звук, какой бывает в кузнице, когда разом опускают мех, и ветер кончился.

Михаэль вернулся в dormitorio впотьмах и до утра никому ничего не сказал. Утром сказал мне.

Я ходил на то место сам. Солома с крыльца лежала на камнях кругом, а в середине круга не было ни соломинки, ни пылинки, и камни там были чистые, как выметенные. Фонарь лежал у стены целый. Лист с картиной о доброй кончине, который брат келарь за неделю до того купил на ярмарке во Фрайбурге и прибил к воротам странноприимного дома для паломников к празднику святого Михаила, исчез. Это был тиснёный лист, из тех, что теперь печатают в Страсбурге и в Базеле: на ложе умирающий, у изголовья ангел, а вокруг пятеро бесов со свитками, на которых писано, чем они его искушают. Гвозди остались в воротах. На одном висел уголок бумаги.

Отец приор выслушал меня и Михаэля. Михаэлю он велел прочесть семь покаянных псалмов — за то, что пошёл к нужнику кружным путём, а не за то, что видел, — братию не пугать, а брату келарю купить на следующей ярмарке новый лист. Нового листа брат келарь так и не купил. Следующая ярмарка была уже после.

Уголок я сохранил. Он и теперь лежит в этой книге, между листами, и я смотрю на него, когда пишу: край ложа, складка одеяла, а под ней бесовская нога с раздвоенным копытом и лапа с тремя когтями.

Тогда я решил, что Михаэль видел то, что видят пятнадцатилетние, которые спят стоя, что ветер был просто ветер, а лист сорвало и унесло через стену. Я ошибся. Записываю это не затем, чтобы оправдаться, а затем, что видел место сам, держал этот уголок в руке и отвечаю за свои слова.

Через тринадцать дней пришли они.

Часть первая. Дом

Глава 1. Котёл

У отцов писано, что в аду грешников варят в котлах. Котлов я сам не видел и потому свидетельствовать о них не могу.

Хроника брата Матиаса

Его опустили в котёл на третьей минуте, и он закричал.

Свет в зале держали тёмно-красным, потому что при другом свете не видно, как расплав входит в трещины, и в этом свете всё выглядело хуже, чем было. Четверо санитаров держали старика длинными шестами с развилками на концах — под мышки и под колени, чтобы пластины лежали на металле, а не на их руках, — и опускали медленно, без рывков. Он бился, хрипел и ругался словами, которых Велар не слышал от отца с тех пор, как в одиннадцать лет разобрал домашний охладитель посмотреть, что внутри, а собрать обратно не сумел. Рога у старика, жёлтые и растрескавшиеся по всей длине, стучали о край котла; хвост хлестал воздух и ни во что не попадал. Над поверхностью стоял тяжёлый кислый пар. Вокруг холодных пластин расплав темнел; там, где трещины доходили до живого слоя, со дна поднимались медленные пузыри.

— Ещё минуту, — сказал санитар у панели, не поднимая глаз. — Пусть привыкнет. На прошлой неделе он мне палец сломал.

— Он и мне ломал, — сказал Велар. — Давно.

Санитар впервые на него посмотрел, решил, что это шутка, и смеяться не стал. Через минуту отец затих. У стариков эта боль проходит быстро: под старыми пластинами чувствительность гаснет первой и возвращается последней, и на смену боли приходит тяжёлое ленивое тепло, ради которого они потом являются сюда без записи, выдумывают новые трещины и просят ещё. Шесты убрали. Доран Корен остался сидеть в котле по плечи, закрыв глаза, и от его плеч вверх потянулись тонкие нити пара.

Велар сел на скамью для посетителей. Желоб для хвоста в спинке был рассчитан на кого-то потоньше, и Велар устроился боком, на самом краю. В зале стояли четыре котла, работал один. У дальней стены двое мастеров по панцирю вполголоса выясняли, чья очередь чистить слив, и, судя по тому, как один из них прижал хвост к ноге, очередь была его. В автомате у входа Велар взял стакан горячего настоя; настой оказался на полградуса холоднее, чем он любил, и он подкрутил нагреватель на доньшке, подождал, подкрутил ещё раз и только потом отпил.

Над котлом висела панель. Температура расплава стояла у верхней границы допуска — не за ней, но там, где кончается запас. Велар уже прикидывал, кому и в какой форме об этом написать. Одёрнул себя. Установка была не его. Лечебница на Глубоком ярусе варила стариков два века без его советов и, если верить отцу, варила хорошо.

— Пришёл, — сказал Доран, не открывая глаз. — А я думал, пришлёшь ту штуку, которая отвечает твоим голосом.

— Я обещал прийти.

— Ты много чего обещал.

Отец подвигал нижней челюстью, проверяя, все ли пластины легли на место, и открыл глаза. Защитные плёнки на них помутнели от пара, и он долго моргал, сгоняя муть.

— Ну что, — сказал он, — нашли свою дырку в мире?

— Её нашли до меня.

— Но лезть в неё собираешься ты.

Санитар у панели поднял голову и посмотрел на Велар внимательнее: должно быть, узнал по новостям. Велар отвернулся к котлу.

— Окно через тринадцать суток.

— Тринадцать, — повторил отец, будто пробовал число на зуб. Сорок лет он учил детей истории и до сих пор переспрашивал каждое число, которое ему не нравилось. — И сам пойдёшь?

— Я руководитель экспедиции.

— Я не про должность спросил.

— Сам.

Доран помолчал. Расплав у его груди понемногу тускнел: там, где трещины затягивались, жар уходил внутрь, и светлые пятна на поверхности гасли одно за другим. Велар следил за ними, как следил бы за любым процессом, у которого есть начало, конец и скорость, и через некоторое время заметил, что считает пятна.

— Тебе в детстве говорили, — сказал отец, — не ковыряй трещину, холодный вылезет.

— Мне это говорил ты.

— Вот видишь. Значит, наполовину я был прав: трещину ты расковырял. — Он коротко выдохнул несколько раз подряд, и грудь его загудела под расплавом: смеялся. — Посмотрим, что вылезет.

— Ничего не вылезет. Там холодно, давления почти нет и очень много воды. В таких условиях ничего сложного не держится.

— Это ты так думаешь или так оно и есть?

Велар хотел сказать, что так оно и есть, но отец сорок лет ловил учеников именно на этом, а Велар в своё время тоже сидел у него на уроках.

— Так оно и есть, насколько мы знаем.

— Ага, — с удовольствием сказал Доран и опустил подбородок к самому расплаву.

Санитар объявил, что осталось три минуты, потом подъём, потом остывание сколько велят, и чтобы без фокусов. Доран повторил «без фокусов» таким похожим голосом, что второй санитар, у дверей, фыркнул и сделал вид, что закашлялся.

— Севил приходила, — сказал отец уже другим голосом, ленивым и тёплым: расплав брал своё. — Позавчера. Сидела вон там, где ты сидишь, и рисовала меня в котле.

— Зачем?

— Сказала, для работы.

— Для какой работы?

Велар услышал свой голос и поморщился. В нём было как раз то, из-за чего Севил года три назад перестала рассказывать ему, над чем работает.

— Ей заказали лечебницу, — сказал отец. — Новую, на Верхнем ярусе. Какой там будет свет, на что будет смотреть тот, кому больно, где сидят такие, как ты, чтобы не мешать таким, как я. Вот она и пришла посмотреть на старика, которому больно. Нарисовала. Хорошо нарисовала, между прочим: я там злой и смешной.

Велар знал, что у Севил большой заказ: Иларен говорила за ужином. Он запомнил, что заказ от городского управления и что платят прилично. Про свет и про то, на что смотрит тот, кому больно, он не запомнил. Может быть, Иларен говорила и об этом, а он в это время думал о своём.

— Ты бы хоть раз посмотрел, что она рисует, — сказал Доран.

— Я смотрел.

— Ты смотрел, сколько ей за это платят.

Терминал на поясе дёрнулся коротко, дважды: так он звал только с работы. Велар полез за ним, и вместе с терминалом из кармана выскользнула маленькая тусклая пластинка на обрывке шнура и звякнула о пол. Санитар у дверей поднял её раньше, чем Велар успел нагнуться, и

повертел в пальцах. Детский домашний ключ старого образца; по краю было неровно выцарапано кольцо с двумя рожками — так Севил в девять лет рисовала себя.

— Ваше?

— Дочери.

Ключ давно ничего не открывал: замки в доме с тех пор меняли дважды. Севил сунула его отцу в карман, когда ей было девять, и забыла, и с тех пор Велар каждый раз собирался его выбросить. Он убрал пластинку и посмотрел на экран.

Писал Севар Нарвен. Севар писал так, будто за каждую лишнюю частицу с него брали деньги: без формы источника, без вежливых окончаний, бывало, и без глагола. Сообщение и сейчас было коротким — «Камера ночью вдохнула. Внутри чужое. Видел сам», — но последнее слово стояло в полной форме очевидца. Эту форму в школе учат ставить в протоколах аварий, а в обычной переписке её не ставит никто, потому что она звучит как присяга. Севар не ссылался ни на приборы, ни на ночную смену. Он видел своими глазами и хотел, чтобы Велар понял это сразу.

Велар встал.

— Иди, — сказал отец, снова закрывая глаза. — Если вылезет холодный, приведи показать.

У дверей Велар задержался и сказал санитару у панели:

— Расплав у вас на верхней границе.

— Я знаю, где у меня граница, — ответил санитар, не поднимая головы.

* * *

Лечебница стояла на Глубоком ярусе, у старого рифтового склона, где город теплее и дешевле, а Институт аномалии — на краю Верхнего, где прохладнее и дороже, и между ними было шесть станций тоннельного поезда и долгий подъём. В вагоне, как всегда в начале смены, было тесно. Велар встал у дверей и взялся за поручень обеими руками. С тех пор как в двадцать лет он на резком торможении раскроил о такой же поручень левый рог, он держался в вагонах только так. Когда его лицо стали показывать в новостях, кто-то написал, что скол у руководителя проекта «наверняка остался со службы», и опровергнуть это было невозможно, потому что прямо никто ничего не утверждал. Чей-то хвост лёг ему поперёк стопы. Хозяин хвоста смотрел в свой терминал с видом существа, к которому хвост отношения не имеет.

Велар открыл журнал ночного окна. Окно было плановое, зондовое, одно из многих, и он не стал бы его смотреть раньше вечерней сводки, если бы не Севар. Перед каждым открытием переходную камеру выстуживали и откачивали до условий той стороны, чтобы горловина держалась ровнее и на её краях не было перепада, а давление ставили чуть ниже чужого — с небольшим запасом, чтобы при открытии отсюда туда не ушло ничего. Велар пролистал кривую до момента открытия. В последние секунды перед окном давление в камере, вместо того чтобы остановиться на уставке, продолжило падать и встало почти вдвое ниже: на линии откачки не закрылся клапан. Автоматика отметила провал и подняла тревогу. У дежурного было несколько секунд, чтобы прервать окно, и дежурный вручную подтвердил продолжение.

Велар вернулся к этой отметке и посмотрел на неё ещё раз. Потом ещё. Дежурным в ночной смене стоял Келин Дорел, младший техник, тот самый, который вешал записывающие блоки на всё, что двигалось и не двигалось, и которого на прошлой неделе включили в состав экспедиции.

Внизу, в сводке параметров той стороны, была ещё одна строка, которую Велар сначала пропустил. Давление там за последние сутки поднялось. Немного, на доли, и ни на что не повлияло; но поднялось само, без причины, которую можно было бы назвать, а в моделях, по которым он через тринадцать суток собирался вести туда девять человек, давление той стороны было постоянным. Ни один из полусотни зондов не прожил там достаточно, чтобы заметить, что оно меняется. С калибровочных окон в сводку шла одна геометрия, остальное фильтр

выбрасывал. Велару это не понравилось. Ему вообще не нравились неизвестные из ночного журнала.

Терминал завибрировал вызовом. На экране стояло: «Совет безопасности Содружества. Приёмная главы Совета». Велар сбросил вызов. Через минуту вызов повторился, Велар сбросил и его, и хозяин хвоста, оторвавшись от своего экрана, посмотрел на него с уважением того, кто сам бы так не смог.

На Верхнем ярусе поезд выходил из тоннеля на старый виадук, и на полминуты весь Сарвел оказывался внизу, за стеклом. Велар смотрел на город каждое утро и каждое утро прислушивался, как поют деформационные швы виадука, когда камень прогревается после ночи. Город спускался по рифтовому склону уступами. В старом квартале по открытым желобам текли соли отопления, и улицы светились оранжевым — наверное, так же они светились и при деде его деда. Выше стояли тепловые башни, сбрасывающие жар в небо, а небо висело низко, медное и плотное, и далеко над плато, у самого края видимого, медленно шла гроза: разряды ходили внутри облаков и не касались земли.

Через тринадцать суток он будет стоять там, где никакого неба над головой, по расчётам, нет вовсе: только пустота, светлая и холодная, до самого конца. За двадцать лет работы он ни разу не попробовал себе это представить. Поезд ушёл обратно в тоннель, и стекло снова стало чёрным.

* * *

На входе в институт стоял лишний охранник — не институтский, в сером — и проверял пропуск Велара дольше, чем было нужно. В кольцевом зале горел дежурный свет. Генераторы стояли по кругу, тёмные, остывающие после ночи, а посреди круга, на массивных опорах, лежала переходная камера: короткий толстостенный цилиндр с одним смотровым окном, от которого во все стороны расходились жгуты кабелей и трубы.

Севар ждал у окна, сложив на груди тяжёлые руки. Рядом переминался Келин Дорел, обвешанный записывающими блоками, и края его рогов светились тонкими тёплыми полосками. Сам он этого, конечно, не видел, а все остальные видели.

— Клапан? — спросил Велар вместо приветствия.

— Клапан на линии откачки, — сказал Севар. — Мой клапан. Я его ставил, я его проверял, я его в отчёте хвалил. Сейчас он лежит у меня на столе разобранный и делает вид, что ни в чём не виноват. — Он помолчал. — Теория, как обычно, нуждается в гаечном ключе. Только на этот раз с ключом надо было лезть ко мне.

— Ты видел провал и не закрыл, — сказал Велар Келину.

— Да.

— Почему?

Келин посмотрел на Севара, но Севар смотрел в окно камеры.

— Окно стояло ровно, — сказал Келин. — Совсем ровно, ни одной дрожи на краях. Зонд шёл на возврат. Если бы я закрыл, мы бы его потеряли, а это третий зонд, который там вообще прожил больше минуты. — Он запнулся и добавил тише: — И я хотел посмотреть, что будет.

Велар ждал оправданий, но Келин больше ничего не сказал. На его месте, в его годы, Велар закрыл бы окно. Он знал это о себе совершенно точно и не мог решить, хорошо это или плохо.

— Отчёт, — сказал он. — Полный, по секундам. В форме очевидца.

— Я всё снял, — быстро сказал Келин. — С самого вдоха. Хотите посмотреть?

— Сначала камеру.

Смотровое окно было толщиной в ладонь. Камеру после окна не открывали, только загерметизировали, и держали в тех условиях, в каких она осталась, — холодной, с чужим воздухом внутри, — пока не придёт биологическая группа; стены и стекло изнутри по-прежнему охлаждались. Стекло запотело. Велар никогда не видел, чтобы стекло запотевало так: не ров-

ной дымкой, а мелкими каплями, которые сливались одна с другой, тяжелели и, без насоса и без уклона, который кто-нибудь рассчитал, начинали ползти вниз, оставляя за собой чистую дорожку. Он смотрел, как одна капля догнала другую, стала больше и поползла быстрее. Всю жизнь он работал с водой — в реакторных контурах, в охладителях, в лабораторных петлях, — и всю жизнь вода была у него в трубах, под давлением и под присмотром. Здесь она текла сама, по холодному стеклу, будто ей так и полагалось.

Сквозь чистые дорожки между каплями был виден пол, и у опор зонда на полу лежал мусор. Велар не нашёл для этого другого слова и потом, когда его спрашивали, так и говорил: мусор. Короткие светлые стебли, полые, как трубки, сухие, переломанные, — десятка два, рассыпанные веером от горловины к дальней стене. Серая пыль. Тонкий плоский лоскут с прожилками, тёмный, почти без цвета, сморщенный по краю. Лёгкая вещичка с жёсткой осью посередине и тонкими нитями, расходящимися от оси в обе стороны; одна нить отстала от остальных и шевелилась, хотя ни один датчик в камере не показывал движения воздуха.

— Растения, — сказал Севар у него за плечом. — Или что у них там вместо растений. Мерен скажет.

— А это?

У дальней стены, там, где вдох кончился и всё, что он нёс, ударилось о металл, лежал лист. Велар назвал его про себя листом, потому что он был плоский и тонкий, но на лоскут с прожилками он не походил ничем. Светлый, сложенный вдвое, он упирался краем в стену и чуть приподнимался на сгибе. Три видимых края были ровными — ровнее, чем рвётся кора и колется слоистый камень, ровнее всего, что Велар встречал в природе, — а один угол был оторван, и по линии отрыва торчали короткие волокна. На той половине, что смотрела в окно, шли тёмные линии. Велар долго разглядывал их, прежде чем решил, что это не прожилки. Прожилки ветвятся. Эти линии шли рядом, сходились и расходились, загибались и замыкались сами на себя, а так не ведёт себя ни одна жила и ни одна трещина.

— Келин, — сказал он, не отходя от окна. — Покажи, что ты снял.

Келин протянул ему записывающий блок. На маленьком экране было черно: ночь на той стороне или то, что у них вместо ночи. Черноту по краям сминало искажение горловины, словно перед объективом держали толстую линзу и медленно её поворачивали. Потом в середине черноты зажглась маленькая яркая точка.

— Огонь, — сказал Келин. — Открытый огонь. Я сначала решил, разряд, но он горит, смотрите, он держится.

Точка покачивалась. Она плыла слева направо, медленно и ровно, на одной высоте, и Велар успел подумать, что для разряда это слишком долго, а для пожара слишком мало. Тут запись дёрнулась: пошёл вдох. Точку сплющило и потянуло к горловине, она мигнула и пропала, и экран сразу заполнил летящий мусор — стебли, пыль, тёмный лоскут, — а последним, переворачиваясь в воздухе, пролетел светлый прямоугольник; он ударился о стекло объектива и ушёл в сторону.

— Назад, — сказал Велар. — До того, как погасло.

Келин отмотал и включил тепловой слой. Рядом с огнём, чуть ниже его, на тёмном поле проступило пятно, едва заметное и размытое, чуть теплее камня вокруг.

— Вот, — сказал Келин. — Видите? Оно было рядом с огнём. Оно шло вместе с ним.

— Это шум. Такое пятно даст любой камень, который нагрелся за день.

— Камень не ходит.

— Ты не знаешь, что оно ходит. Ты знаешь, что пятно сдвинулось на трёх кадрах, а горловина в это время дышала. — Велар вернул ему блок. — И живое не бывает таким холодным.

Келин спорить не стал, но полоски на краях его рогов разгорелись ярче. Думать он будет своё.

— Из Совета звонили? — спросил Севар.

— Дважды.

— Мне трижды. И этот, в сером, на входе, был здесь раньше меня. У них, оказывается, стоит датчик на любое вскрытие камеры. Я, например, не знал.

Велар не ответил. Он подошёл к окну вплотную и, сам не зная зачем, положил ладонь на стекло. Стекло было холодным, ладонь сразу заныла, но руку он не убрал. Он держал её долго, дольше, чем следовало, и под ней на внутренней стороне капли начали съёживаться и пропадать, сначала посередине, потом к краям, пока на запотевшем стекле не проступил чистый отпечаток его руки: три длинных пальца и четвёртый, отставленный в сторону. Сквозь него лист у дальней стены был виден лучше, чем минуту назад, и тёмные линии на нём складывались в очертания, которым Велар пока не хотел искать названия.

— Позовите Мерен Илар, — сказал он.

— Она будет к обеду, — сказал Севар. — У неё доклад на кафедре.

— Позовите сейчас.

— Что ей сказать?

Велар убрал руку. Отпечаток на стекле начал медленно затягиваться каплями с краёв.

— Скажите, что я видел сам.

Глава 2. Ветер внутрь

Воды они боялись. Про крест не знаю: когда поднимали крест, рядом всегда была вода.

Хроника брата Матиаса

В третьем ряду поднял руку старый Терин. Мерен сегодня до выводов не дойдёт.

Терин заведовал кафедрой сравнительной биологии так давно, что студенты считали его частью здания, и на чужих докладах задавал всегда один и тот же вопрос, меняя только слова. Сегодня слова были такие:

— Коллега, вы целый час рассказываете нам о химии той стороны. Вода, свободный кислород, холод, при котором у нас останавливается сердце. Допустим. Но можете ли вы честно представить себе хоть одну сложную молекулу, которая продержится в такой среде дольше, чем вы произносите её название?

— Нет, — сказала Мерен.

По залу прошёл смех, короткий и низкий, рядами, и Терин удовлетворённо уложил хвост на спинку кресла. Он ждал, что она начнёт спорить, и приготовился получать удовольствие.

— Я не могу её представить, — сказала Мерен. — Это говорит обо мне, а не о ней. У нас полсотни зондов, и почти все погибли в первые минуты, потому что попали в воду. Мы знаем о том мире примерно столько, сколько узнали бы о нашем, если бы швырнули в рифт полсотни камней и послушали, как они стучат.

Терминал на запястье толкнул её дважды. Она скосила глаза, не прерываясь. Писал Севар, и написал он больше слов, чем за весь прошлый год: «Велар просит прийти сейчас. Камера вдохнула той стороной. Он видел сам». Глагол в последней фразе стоял в форме очевидца. Мерен перечитала строку и закрыла терминал ладонью, как закрывают рот, когда боятся сказать лишнее.

— Простите, — сказала она залу. — Кажется, один камень что-то принёс обратно.

Терин открыл рот, но она уже спускалась с кафедры, и хвост, к её досаде, выдавал её ещё на лестнице: ходил из стороны в сторону, как у первокурсницы, которую отпустили с экзамена.

До института она доехала с Залин, лаборанткой, которая выскочила за ней из зала с сумкой для проб и всю дорогу молчала так старательно, что Мерен в конце концов сама рассказала ей всё, что знала, то есть ничего. На Верхнем ярусе воздух был другой: меньше гари из старых соляных желобов, больше камня, остывшего за ночь на тепловых башнях. Мерен выросла в высокогорье, где летом бывало так прохладно, что дети бегали в накидках, и каждый раз узнавала в этом воздухе детство. Сегодня она его почти не заметила. Она думала о вопросе Терина и о том, что ответила честно и всё равно проиграла зал.

* * *

Первым делом она попросила воздух.

Велар хотел начать с другого. Он стоял у смотрового окна переходной камеры и смотрел на неё с видом человека, которого заставили ждать, хотя она бежала от самой станции. Но Мерен давно знала, что, если позволить Велару начать, он начнёт с допусков, а ей нужно было сначала узнать, чем там пахнет. Пахнуть ей, разумеется, ничего не могло: камера была запечатана, а то, что в ней, сожгло бы ей дыхательные пластины быстрее, чем она разобрала бы оттенки. Но анализатор на стенке камеры работал всю ночь, и его ленты значили для неё то же, что для Велара значат кривые давления.

Азот, много. Кислород — пятая часть, свободный, ничем не связанный; Мерен знала эту цифру по зондам и всё равно каждый раз спотыкалась о неё. Такой воздух должен был жечь всё, к чему прикасался. Водяной пар. Совсем немного того, чем дышат дома. А дальше лента, которая у зондов всегда кончалась, всё тянулась и тянулась: сотни мелких летучих органических молекул, ни одной в большом количестве, и все разные. Мерен вела пальцем по пикам и

узнавала их по одному, как узнают голоса в соседней комнате, не видя говорящих. Смолистое, вроде пропитки для швов. Жжёный жир. Аммиачное, кислое, животное. И ещё одно вещество, которое она назвала не сразу, хотя знала его: его выделяет живая почва, когда её смачивает вода, и в лабораторных справочниках оно стояло в разделе курьёзов, потому что дома его взять было неоткуда.

— Так пахнет только живое, — сказала она. — Или то, что гниёт. Что, впрочем, тоже живое.

— Ты уверена? — спросил Велар.

— Нет. Похоже на живое, а ведёт ли оно себя как живое, сейчас посмотрим. — Она повернулась к Залин, которая ещё не научилась прятать смущение в рогах. — Набери мне ампулу. Маленькую, герметичную, из камеры. Для меня.

— Для коллекции? — спросила Залин и тут же покраснела краями рогов, сообразив, что спросила при руководителе проекта.

— Для коллекции, — сказала Мерен.

Велар промолчал. Он знал про её ампулы — запах рынка в Тарвене, запах грозы над плато, запах больничной палаты, где умирал её отец, — и, видимо, считал это безобидной странностью, вроде её привычки есть медленно. Мерен давно перестала ему объяснять.

* * *

Мусор переносили в холодный бокс через малый шлюз, по одной вещи, манипуляторами. Руками было нельзя: внутри бокса держали ту же стужу, что в камере, и тот же жгучий воздух, и даже в толстых перчатках пальцы через минуту перестали бы чувствовать, а потом начали бы трескаться. Мерен села за пульт и положила кисти в ложементы. За стенкой бокса опустились две тонкие металлические руки и повторили её движение — с запаздыванием, к которому она привыкла за годы и которое сегодня впервые её раздражало.

Стебли она взяла первыми, потому что их было больше всего. Полые, лёгкие, ломкие, из длинных клеток с толстыми стенками, — под увеличением это было видно сразу, и сразу было видно, что стенки сложены из волокна, которое она знала по справочникам и никогда не держала. У двух стеблей концы были не сломаны. Они были срезаны — ровно, наискось, одним движением, и клетки на срезе были рассечены, а не раздавлены. Мерен повертела стебель, посмотрела на срез с другой стороны и положила его отдельно, в свою кювету. Велар у неё за плечом спросил, что там. Она ответила, что не знает, и это была почти правда.

Лоскут с прожилками в красном свете бокса был чёрным, плоским и скучным. Мерен переключила осветитель на глубокий диапазон, в котором видишь не столько цвет, сколько тепло, — и лоскут вспыхнул. Он отражал этот свет, как полированная пластина, и прожилки проступили на нём тёмным узором.

— Похоже на тёмный камень, — сказала она, — а ведёт себя как зеркало. Он отбрасывает тот свет, который мог бы его греть. У них слишком много света, Велар. Им его некуда девать.

На поверхности лоскута, в складке у главной прожилки, стояла капля. Мерен подвела к ней объектив и долго ничего не говорила. В капле двигались. Сначала она решила, что это течение: капля остывала неравномерно, и в ней могли ходить токи. Но токи несут всё в одну сторону, а здесь мелкие прозрачные палочки дёргались каждая по-своему, и одна, крупная, вытянутая, в мелкой бахrome по краю, шла через всю каплю, упиралась в край, поворачивала и шла обратно. Мерен смотрела, как она поворачивает — раз, другой, третий, — и не могла выговорить того, что видела: в такой стуже, в такой воде, в таком воздухе ничто не должно было двигаться само.

— Как оно не распадается? — шёпотом спросила Залин.

Это был первый вопрос, который задал бы любой студент, и Мерен не стала её поправлять, потому что задала бы его сама.

— Оно живое, — сказала она.

Велар наклонился к экрану. — Тепловые токи.

— Против тока так не плавают. — Мерен показала на бахромчатую клетку, которая как раз снова разворачивалась у края капли. — Оно ищет. Упёрлось, ему не понравилось, пошло назад. Это поведение, Велар. Маленькое, глупое, одноклеточное, но поведение.

Велар смотрел долго. Мерен знала его двадцать лет и знала, что сейчас он перебирает всё, чем ещё можно было бы это объяснить, и одно за другим откладывает. Наконец он выпрямился. Севар успел пересказать ей утренний разговор у камеры, и она чуть было не сказала Велару, что живое, оказывается, бывает таким холодным, но промолчала. Он и так это понял, а смотреть, как он понимает, ей было достаточно.

Лёгкую вещь с осью они разглядывали дольше всего, потому что она была красивая. От жёсткого стержня в обе стороны расходились тонкие нити, от каждой нити — нити ещё тоньше, и на этих тончайших, при самом большом увеличении, сидели крючки, которые цеплялись за соседние. Когда Мерен раздвинула нити манипулятором, плоскость разошлась, а когда она провела по ней в обратную сторону, крючки нашли друг друга, и плоскость сомкнулась, будто её и не трогали.

— Это не растение, — сказала она. — Это покров. Чей-то. Лёгкий, плоский и сам себя застёгивает. Если бы мне дали такое без объяснений, я бы сказала, что это для воздуха. Чтобы на него опираться.

— У них воздух пустой, — сказал Севар. — На пустой не обопрёшься.

— На их пустой, может быть, и обопрёшься, — сказала Мерен. — Если ты очень лёгкий.

* * *

Лист принесли последним. Он был холодный, сухой, слегка покоробленный от влаги и сложенный вдвое. Мерен положила его на столик бокса сгибом вверх и сначала, не разворачивая, посмотрела на край. Волокно. То самое, из которого были стебли и лоскут, только разбитое, перепутанное и спрессованное в плоский войлок: не так, как оно растёт, а так, как делают, когда хотят получить ровное из неровного. Три края были обрезаны. Четвёртый угол был вырван, и по разрыву торчали волокна, как шерсть.

— Это сделано, — сказала она.

Никто не ответил. Келин Дорел, которого Мерен до этого почти не замечала, хотя он стоял у самого бокса, обвешанный записывающими блоками, подошёл ещё ближе.

Тёмные линии на внешней стороне оказались не краской в её понимании, а сажей, вмешанной в высохшее масло; сажа лежала поверх волокон, на самом верху, и вглубь не уходила. Мерен взяла лист манипуляторами за два угла и развернула.

Сначала она увидела того, кто лежал.

Он лежал в середине, на длинном и плоском, под складками, которые, наверное, изображали ткань, и линии, которыми его провели, были грубыми, но рука, которая их проводила, знала, что рисует. Две ноги, одна выглядывает из-под покрыва. Две руки поверх. Голова маленькая, круглая, без единого выроста; ни рогов, ни пластин, ни хвоста; лицо плоское, с маленьким ртом. Весь он был незащищённый, как вынутый из скорлупы. Мерен услышала собственный голос раньше, чем решила заговорить:

— Это они. Они нарисовали себя. Смотрите: двуногие, как мы, и руки как у нас, только пальцев... — она приблизила, — пять. Пять пальцев. И голова почти голая. А у изголовья, вот, ещё один такой же, только с...

У изголовья лежащего стоял второй, похожий, в длинной одежде, и за спиной у него поднимались крылья — не мембраны, не складки, а те самые нити на осях, ряд за рядом, точно такие, как на вещице, которую она только что разглядывала под самым сильным увеличением.

— У них есть летающие, — сказала Мерен. — Те же самые, только с крыльями. Другая форма. Может быть, возраст, может быть, пол, или...

Она повела световое пятно к краю листа, туда, где вокруг лежа теснились остальные фигуры, и замолчала.

Их было пятеро. Они стояли и висели вокруг лежащего, тянулись к нему, и каждый держал развёрнутую ленту, исписанную мелкими знаками. У одного за спиной были раскрыты длинные перепончатые мембраны на тонких костях. У другого лицо вытянулось в звериную морду, у третьего — в клюв. Один был нарисован почти целиком, сбоку, и Мерен разглядела его лучше остальных. Их нарисовали неправильно в сотне мелочей, и всё равно Мерен, которая всю жизнь видела тела своего вида — в зеркале, на улицах, на столе вскрытия, — узнала их сразу, как узнают своё отражение в закопчённом стекле.

— Двуногие, — сказала она ровно. Голос сам стал тем голосом, каким она диктовала протоколы. — Хвост у каждого. Рога у каждого, форма разная. Стопа раздвоена, два опорных сегмента. На кистях по три пальца с когтями, четвёртый...

Она не договорила. Спинные складки приоткрылись сами, как открываются в жару, и прижала она их не сразу.

— Это же мы, — сказал Келин.

Мерен смотрела на рогатого, нарисованного сбоку, на его раскрытый рот, на ленту, которая выходила изо рта, на мелкие одинаковые знаки на ленте.

— Это похоже на нас, — сказала она.

Глава 3. Портрет

Один из них всё время повторял за нами наши слова. Сначала я думал, что он передразнивает, потом понял, что учится, и не знал, что из этого хуже.

Хроника брата Матиаса

Бабушка Нарека не признавала новых слов, а его племянница — старых, и последние полчаса Нарек сидел между ними за праздничным столом и переводил с говора на говор, как переводил всю жизнь.

Праздновали развилку. У Тали, дочери старшего брата, на прошлой неделе раздвоился правый рог, и по тарвенскому обычаю семья собралась за столом, а старшая из женщин должна была первой коснуться новой развилки и сказать, что в ней видит. Над обычаем смеялись все, и все его соблюдали. Бабушка, крошечная, высохшая, с рогами, стёртыми почти до основания, долго трогала развилку внучки сухими пальцами и наконец объявила на южном говоре, который в семье понимали уже не все, что развилка упрямая, в мать, и что расти она будет вкось, но крепко.

Тали сказала, что весь этот обряд — полный «холод».

— Что она говорит? — спросила бабушка.

«Холод» на языке ровесников Тали значил «скучно, мертво, ни о чём». Нарек повторил слово про себя, отмечая, как быстро оно у них сменило смысл, и сказал бабушке, что Тали очень тронута. За шестьдесят лет на тарвенском рынке бабушка научилась отличать перевод от дипломатии. Она посмотрела на Нарека, но ничего не сказала и положила внучке ещё томлёной массы с железной остротой, которую готовила сама и которую, кроме неё, никто не мог есть, не закашлявшись.

Мать спросила, когда он наконец приведёт в дом кого-нибудь, с кем можно поговорить не о словах. Старший брат спросил, правда ли, что на кафедре теперь платят за то, чтобы слушать шумы с той стороны. Нарек ответил, что за шумы не платят, платят за то, чтобы потом объяснить, почему это не шумы, и брат сказал, что именно так и думал. Племянница под столом толкнула его хвостом и показала терминал: на экране было изображение, которое ходило сейчас у всех её ровесников, — кто-то нарисовал холодного из детской страшилки, бледного, мягкого, с каплюющей с пальцев водой, и подписал: «Когда препод говорит, что контрольная будет лёгкой».

Нарек засмеялся, и тут его собственный терминал толкнул его в запястье. Писала Мерен. Сообщение состояло из одного слова «срочно», названия Института аномалии и ничего больше. Мерен, которая на любой вопрос отвечала тремя уточнениями, не написала ни одного.

Он встал. Мать сказала: «Опять твои слова». Тали сказала ему вслед, что дядя Нарек, вообще-то, «жар», и он, уже в дверях, повторил про себя и это.

* * *

Охранник в сером дважды переврал его имя, и Нарек дважды повторил за ним, шёпотом, оба варианта. Первый звучал как название дешёвой копчёной массы, второй — как ругательство из южных портов. Нарек вырос в Тарвене, где на одной улице говорили на шести говорах, и по тому, как охранник растянул второй слог, решил, что тот сам с юга и не любит, когда его поправляют.

— Саврен, — всё-таки сказал он. — Нарек Саврен, кафедра знаковых систем. Меня ждут.

— Вас не ждут, — сказал охранник. — Вас вызвали.

Нарек повторил и это, беззвучно, одними губами, потому что разница ему понравилась.

Мерен стояла у поворота к кольцевому залу. Он не видел её с конца прошлого сезона. Спинные складки она прижала так плотно, как их прижимают только нарочно.

— Ты написала «срочно» и не написала, что случилось, — сказал он вместо приветствия. — Значит, или нельзя, или ты не знаешь как.

— Второе.

— Тогда не объясняй. Покажи.

* * *

Лист лежал в боковой лаборатории, в плоском холодном ящике под толстой прозрачной крышкой, и вокруг ящика стояли люди, которые, судя по позам, стояли так уже давно. Нарек узнал Велара Корена — по новостям, по сколу на левом роге, по тому, как тот держал руки, будто боялся что-нибудь задеть. Узнал Севара Нарвена, с которым однажды полночи спорил на чьём-то празднике, можно ли считать языком сигналы аварийной сирены, и проиграл. Молодого техника, обвешанного записывающими блоками, он видел впервые, как и девочку-лаборантку с горячими кончиками рогов.

Наклонившись над ящиком, он первым делом увидел знаки, а фигуры — уже потом. Мелкие, тёмные, в несколько строк, знаки шли по лентам, которые вились над листом, ровно, с промежутками, в одну сторону. Нарек смотрел на них, как слушают чужую речь из-за стены: смысла нет, а ритм уже слышен. Знаки повторялись, одни чаще, другие реже. Между группами были пустые места.

— Мне нужно увеличение, — сказал он. — И чтобы минуту никто ничего не говорил.

Он переписывал знаки в терминал как умел, грубо, по контуру, и через ту минуту, которую просил, и ещё через три сказал:

— Разных знаков немного. Двадцать с чем-то. Некоторые идут очень часто, некоторые почти не попадают. Если бы каждый знак значил слово, их были бы тысячи. Если бы слог — сотни. Двадцать с чем-то — это звуки.

— Ты уверен? — спросила Мерен.

— Ты хочешь знать, уверен ли я, или хочешь, чтобы я сказал, что уверен?

— Первое.

— Нет. Но я бы поставил на это месячное жалованье. — Он выпрямился. — Они записывают звуки. Как мы.

Только после этого он посмотрел на фигуры, и смотреть пришлось долго, потому что все остальные уже видели то, что ему ещё предстояло увидеть, и молчали, давая ему увидеть самому. Лежащий в середине. Крылатый у изголовья. Пятеро вокруг. Мерен, наверное, узнала их по костям и стопам; Нарек узнал по тому, как рогатые стояли: тесно, все лицом к лежащему, и каждый тянулся к нему рукой, лапой, лентой. Так стоят вокруг того, кого собираются уговорить. Или забрать.

— Ленты, — сказал он. — Откуда они идут?

Мерен подвела увеличение. Лента одного из рогатых начиналась у его раскрытого рта.

— Изо ртов, — сказал Нарек. — Это не украшение. Это то, что они говорят. Нарисованная речь.

— Кому? — спросил Велар.

— Ему. — Нарек показал на лежащего. — Все говорят ему. Он единственный, кому ленты не дали.

Сзади кто-то выдохнул. Техник, до сих пор не сказавший ни слова, поднял было свой записывающий блок и тут же опустил, поймав взгляд Велара.

Нарек снова наклонился, на этот раз к месту, где одна из линий пересекала сгиб. — Мерен. Линии лежат на поверхности или вдавлены?

— Вдавлены, — сказала она сразу: видно, сама уже думала об этом. — Волокно под каждой линией сжато. Сажа сверху, на самом гребне.

— Значит, это не рисовали. — Нарек услышал, что голос у него стал быстрее, и не стал его придерживать. — Это оттиснули. Кто-то вырезал всю картинку наоборот на чём-то твёрдом, покрыл чёрным и прижал к листу. Форма осталась у него. Он может прижать её ещё раз. И ещё.

— Зачем? — спросил Севар.

— Затем же, зачем мы. Чтобы многие увидели одно и то же. — Нарек поднял голову. — Вы понимаете? Портретом это не назовёшь. Тот, кто однажды нас увидел и нарисовал на память, нарисовал бы один лист. А это делают много раз, чтобы было у многих. У них есть общее изображение нас.

— Зачем им это? — спросила лаборантка и тут же покраснела краями рогов, но вопрос был задан, и все посмотрели на Нарека.

Нарек начал отвечать и не мог остановиться: так всегда бывало, когда ему становилось страшно. — Это может быть рассказ, — сказал он. — Событие из их прошлого, которое все знают. Может быть предупреждение. Может быть вывеска, знак места, где лечат или хоронят. Может быть обращение к кому-то, кого нельзя увидеть, такие изображения были и у нас, в старых святилищах, помните, ряды фигур на стенах... Может быть, это смешно, а мы не понимаем, что это смешно. Может быть, этим пугают детей...

— Нарек, — сказала Мерен.

Он замолчал.

— У нас детей пугают холодными, — неожиданно для всех и, судя по лицу, для себя сказал Велар. — «Не ковырай трещину, холодный вылезет». Мне отец говорил.

— Всем говорили, — сказал Севар.

Нарек посмотрел на лежащего: маленькая голая голова, руки поверх покрывала, ни пластин, ни рогов, ни хвоста. — Тогда чем, по-вашему, пугают детей у них? — спросил он.

Никто не ответил. Нарек плохо переносил тишину и поэтому спросил у Мерен первое, что пришло в голову:

— Как он лежит?

— Как лежат больные. Голова на подъёме, руки поверх. Я бы сказала, он слаб. Или умирает.

— А крылатый?

— Стоит у головы. Рука поднята. Не тянется, как остальные, а...

— Заслоняет, — сказал Нарек. — Или благословляет. Или прощается. — Он заставил себя остановиться на третьем. — Мне не нравится, где у них руки. У всех.

* * *

Дверь открылась без стука. Охранник отступил в сторону, и в лабораторию вошёл пожилой грузный человек в такой же серой одежде, только без нашивок, а следом за ним двое помощников. Он двигался медленно, как двигаются старики, которые когда-то были очень сильными и ещё не привыкли к тому, что сила ушла, и остановился, не дойдя до ящика, — там, откуда лист был хорошо виден, но крышку нельзя было задеть даже случайно.

— Малхор, — сказал он, обращаясь ко всем сразу. — Совет безопасности. Профессор Корен, простите, что звонил вам с утра. Вы не брали и правильно делали. Я бы на вашем месте тоже не брал.

Велар ответил коротко и сухо. Слов Нарек не расслышал: он смотрел на руки вошедшего. На тыльной стороне обеих кистей пластины лежали неровно, светлыми пятнами, будто когда-то сошли и выросли заново, но не так, как росли сначала. Мерен рядом с ним тоже смотрела на эти руки, и хвост у неё перестал двигаться совсем.

Малхор смотрел на лист долго. Никто его не торопил. Потом он стал задавать вопросы, короткие, вежливые и настолько точные, что Нарек начал их запоминать, как запоминал удачные чужие фразы.

— Кто, кроме присутствующих, видел этот предмет?

— Никто, — сказал Велар.

— Велась ли запись?

Техник шагнул вперёд прежде, чем его назвали. — Я снимал. Камеру, вдох, потом бокс. Всё.

— Благодарю вас. — Малхор чуть наклонил голову, и было непонятно, благодарит он или запоминает имя. — Доктор Илар. Насколько они холодные?

Мерен ответила не сразу. — Если внутри у них жидкая вода, — сказала она, — а судя по всему, что мы видели, так оно и есть, то тело у них намного холоднее той температуры, при которой у нас останавливается сердце. Намного.

— Намного, — повторил Малхор. Его левая рука легла на правую, закрыв светлые пятна, и так и осталась лежать. — Благодарю.

Он ещё раз посмотрел на лист, на пятерых вокруг ложа, на ленты, и сказал тихо, будто самому себе:

— Они нас видели.

Нарек расслышал прежде всего форму. Малхор сказал это в форме очевидца — той, которой говорят только о том, что видел сам. О том, чего не видел, так не говорят: для этого есть форма вывода и форма слуха. Видеть, как кто-то видел их, Малхор не мог. Он вывел это из листа минуту назад, на глазах у всех, и уже говорил об этом как о прошлом, которое никто не оспорит.

— Лист, записи и образцы остаются здесь, под охраной Совета, — продолжил Малхор обычным голосом. — Научная группа сохраняет доступ, через моих людей. Всё, что вы видели в этой комнате, из неё не выходит: ни к семьям, ни к коллегам, ни на кафедру. — Он повернулся к Велару. — Профессор, через тринадцать суток вы поведёте туда девять человек. Я хочу, чтобы вернулись девять.

Возразить на это было нечего, и Велар промолчал.

— С этой минуты, — сказал Малхор, — это вопрос безопасности.

Один из его людей подошёл к технику и протянул руку. Техник отстегнул записывающий блок не сразу: сначала его ладонь легла на карман на поясе и только потом, словно передумав, перешла к блоку. Нарек это заметил. Больше, судя по всему, никто.

Потом, когда Малхор ушёл, когда серые встали у двери, а Мерен с Веларом вполголоса заговорили о допусках к образцам, Нарек отошёл к стене и повторил про себя первую фразу, сказанную Малхором, — сначала так, как её сказал Малхор:

— Они нас видели.

А потом так, как сказал бы любой, кто сам этого не видел:

— Они нас, должно быть, видели.

— Перестань, — сказала Мерен, не оборачиваясь. — Я тоже слышала.

Глава 4. Худший вариант

Один из них, самый тёмный и тяжёлый, всё время стоял так, чтобы видеть всех нас сразу. Ульрих сказал, что так стоит человек, который уже решил, где будет драться.

Хроника брата Матиаса

Дверь в приёмную главы Совета закрывалась с запозданием и в последний момент цеплялась за порог. Радан Талвер просидел перед ней полчаса и успел найти причину. Нижняя петля просела, и полотно на ходу опускалось на толщину пальца. Дверь открывалась одиннадцать раз, и одиннадцать раз секретарь, немолодая женщина с тщательно отполированными рогами, морщилась от скрежета, не поднимая глаз от экрана. На двенадцатый раз Радан встал, достал из поясной сумки складной ключ, присел у петли и подтянул её на два оборота.

— Что вы делаете? — спросила секретарь.

— Петлю.

— У нас для этого есть служба.

— Служба у вас есть, — согласился Радан и проверил ход. Дверь закрылась мягко и беззвучно.

Секретарь посмотрела на дверь, потом на него и ничего не сказала, но, когда через минуту кто-то вошёл и дверь не заскрежетала, кончик её хвоста одобритительно шевельнулся.

Радан сел обратно. Его вызвали к середине дня, а за час до вызова, в маленькой комнате без окон на нижнем этаже этого же здания, ему показали лист: снимок в полную величину на стене. Сам лист остался в институте, в холодном ящике под охраной. Ему дали смотреть сколько угодно и ничего не объяснили. Радан смотрел так, как смотрел когда-то на схемы зданий перед спасательной работой, потому что по-другому смотреть не умел: где входы, где выходы, кто стоит между тобой и тем, кого надо вынести. Того, кого надо было вынести, нарисовали посередине: мягкого, голого, лежащего. Все подходы к нему были заняты. Пятеро рогатых стояли так, что к лежащему нельзя было подойти, не пройдя мимо кого-нибудь из них, и только крылатый у изголовья оказался внутри кольца, между ними и им.

Так рисуют осаду. Радан подумал это словами, и слова ему не понравились: они были слишком простыми, а простые слова он с годами научился проверять дважды. Он проверил. Ничего другого из картинки не вычитывалось.

* * *

Зал Совета был старый, ещё с тех времён, когда Содружество строило из камня древнего плато и строило с запасом на века. Свод уходил так высоко, что тепло собиралось под ним и не мешало сидящим, а стол из чёрной, отполированной локтями породы тянулся почти через весь зал. За столом сидели пятеро. Малхор — во главе, в той же серой одежде без знаков, в которой утром был в институте. Слева от него — Левар Тинн, ведавший в Совете деньгами и гражданскими делами, сухой, с узкими прямыми рогами, и генерал Варан Сов из сил внутренней обороны, которого Радан знал по совместным учениям и про себя называл Стеной. Справа — Велар Корен, прямой, будто выставленный по отвесу, и молодая женщина-аналитик с экраном перед собой, Селин Дарр. О ней Радан знал только то, что её прогнозная система три года назад верно предсказала обрушение Восточного яруса, а Совет не поверил.

Радан сел на свободное место в конце стола, напротив Малхора, — так, чтобы видеть всех.

— Вы все видели лист, — сказал Малхор. — Доктор Дарр, начните.

Дарр говорила быстро и сухо, и Радан слушал внимательно, хотя с первой минуты понимал, о чём пойдёт речь. Модели было нечего есть, и она ела догадки. Три ветви: изображение — случайное совпадение мифа и природы; изображение — память о прошлом контакте, о котором у нас нет данных; изображение — свидетельство того, что та сторона наблюдает нас сей-

час. Вероятности она называла такие широкие, что в них поместилась бы любая правда. Потом она вывела на экран сам лист, и система разметила его поверх: красным — фигуры, синим — направления рук и взглядов, жёлтым — то, что система сочла «оценочными признаками».

— Композицию система классифицирует как враждебную, — сказала Дарр. — Окружение, направленность конечностей к центральной фигуре, отсутствие у центральной фигуры средств защиты. На нашем собственном материале, на изображениях из нашей истории, такие композиции с высокой надёжностью соответствуют сценам угрозы.

Машина сказала то же, что час назад сказал себе он сам, и Радану это не понравилось. Он, по крайней мере, знал, откуда это у него: из двадцати лет работы, из схем, из чужих тел, которые приходилось выносить. Машина видела это в картинках из музеев.

— Благодарю, — сказал Малхор. — Профессор Корен.

Велар говорил коротко, как всегда. Окно через тринадцать суток; следующее, если сорвать это, — не раньше чем через сезон, а может, и через два: установка выходит на рабочий режим циклами, и цикл приказом не подвинешь. Лист ничего не меняет в физике. Он меняет только то, что мы о себе думаем, а это не причина отменять экспедицию. Отменить её из-за картинки значит поступить так, как поступали предки, когда закрывали шахту из-за дурного знака.

— Предки, — сказал Левар Тинн, — иногда закрывали шахты правильно.

Генерал Варан сказал, что, если там опасно, посылать надо не учёных, а военную группу, и что людей он даст в течение трёх суток. Левар сказал, что Совет не может послать девятерых туда, где нас, по всей видимости, знают в лицо, и что ответственность за решение ляжет на Совет, а не на институт. Велар сказал, что ответственность за экспедицию лежит на нём. Левар ответил, что именно это его и беспокоит.

Малхор слушал всех, сложив руки на столе одна на другую. Потом повернулся к Радану.

— Командир Талвер. Вы видели лист. Что вы видите?

Радан ответил не сразу. — Они нарисовали нас вокруг своего умирающего, — сказал он. — Мы стоим так, что к нему не подойти. Тот, с крыльями, — единственный, кто стоит между нами и им. Для них мы — смерть. Или то, что приходит вместе со смертью. — Он помолчал. — Это я вижу. Чего я не вижу — откуда они это знают.

— И что из этого следует?

— Что отменять нельзя.

Велар, который, видимо, готовился с ним спорить, повернул голову.

— Если они знают, как мы выглядим, — сказал Радан, — значит, мы с ними уже встречались, когда-то и как-то. Или встретимся, хотим мы того или нет. Канал существует без нас, профессор Корен сам это доказал. Я предпочитаю встретить их первым и подготовленным, а не узнать о них, когда они придут сами.

Генерал одобрительно качнул рогами.

— Военную группу посылать нельзя, — продолжил Радан, и генерал перестал качать рогами. — Если они видят в нас смерть, рота солдат им это подтвердит. Пойдут девять, как готовились. Но по протоколу неизвестной угрозы.

Он перечислил, и перечислял тихо: чем серьёзнее была вещь, тем тише Радан о ней говорил, и те, кто с ним работал, знали это и наклонялись к нему. Охраны не двое, а трое: одно место из научной квоты придётся отдать. Тяжёлые костюмы с усиленной водозащитой сочленений для всех, а не только для охраны. Оружие первыми не применять ни при каких обстоятельствах. Коридор отхода к маяку держать открытым всё время пребывания. Маяк ни на минуту не оставлять без охраны.

— Какое место? — спросил Велар.

— Решите сами. Связист у вас, насколько я знаю, ещё не утверждён. — Радан выдержал паузу. — И последнее. В случае прямой угрозы жизни группы решение о применении силы принимает командир охраны. Без согласования.

Левар Тинн оторвался от экрана.

— Решение о контакте принимает руководитель экспедиции, — сказал Велар.

— О контакте — да. О том, чтобы вы не умерли, — я.

Велар смотрел на него, и Радан знал, что тот сейчас скажет про ответственность и про то, что у экспедиции может быть только один руководитель, и знал, что по-своему Велар прав. Но думал он в эту минуту не о Веларе. Он думал о переборке в старом литейном квартале восемнадцать лет назад, о том, как с той стороны стучали — сначала часто, потом реже, — пока его группа ждала резерв, потому что был приказ ждать резерв. Резерв пришёл через сорок минут. Стучать к тому времени перестали. Комиссия потом установила, что приказ был правильным. Разбор, который никто не заказывал и который Радан три года делал сам, установил другое: если бы они вскрыли переборку сразу, двоих из семерых, скорее всего, удалось бы вынести.

— Это значит, — сказал Велар, — что последнее слово будет за тем, кто первым испугается.

— Это значит, что последнее слово будет за тем, кто за это отвечает, — сказал Радан.

Малхор поднял руку, и оба замолчали. — Командование двойное, — сказал он. — Контакт, порядок работы и возвращение — профессор Корен. Сила при прямой угрозе жизни — командир Талвер. О составе договоритесь между собой; я подпишу то, о чём договоритесь, а если не договоритесь, решу сам, и это понравится вам обоим меньше. Протокол неизвестной угрозы утверждаю. Экспедиция не отменяется.

Левар Тинн сделал пометку на экране. Генерал выглядел так, будто ему недодали людей. Велар сидел неподвижно, и только хвост его медленно сполз со скамьи и лёг вдоль ноги. Радан видел такое у многих, кто проигрывал спор, который считал выигранным.

* * *

Когда все вышли, Малхор попросил его остаться и заговорил не сразу. Стоял у торца стола, положив ладони на камень, и Радан снова увидел на тыльной стороне его кистей светлые пятна, неровные, как заплатки на старом покрытии. Радан знал, что это такое. Такие пятна он видел у тех, кого вытаскивал из высокогорья.

— Вы служили в горной спасательной, — сказал Малхор. Это был не вопрос.

— Отец служил. Я — два сезона, перед тем как перейти в городскую.

— Вы видели, как умирают от холода?

— Видел.

— Как?

Радан подумал. — Сначала быстро. Больно, громко, все ищут тепло, лезут друг на друга. Потом медленно. Перестают искать. Делаются тихими. Тихих выносить труднее всего: они уже не помогают.

Малхор долго молчал.

— Тогда вы знаете, куда идёте, — сказал он наконец. — Верните их, командир. Всех.

— Я постараюсь.

— Я не просил стараться.

* * *

В приёмной секретарь стояла у стены, повернувшись к большому экрану, и не заметила, как он вошёл. На экране был лист, снятый под углом, через стекло бокса, с чьей-то рабочей записи: тонкие металлические пальцы манипуляторов держат за углы развёрнутый светлый прямоугольник, в углу кадра горит отметка записывающего блока, а под всем этим бегут строки срочной сводки. Ведущий говорил про «неподтверждённые материалы из закрытого источника», внизу экрана шли первые отклики, и их становилось больше с каждой минутой.

Отметку в углу Радан узнал бы из сотни. Келин Дорел вешал такие блоки на всё, что двигалось и не двигалось.

Секретарь обернулась. — Это правда? — спросила она.

Радан посмотрел на пятерых вокруг ложа, на лежащего, на крылатого у изголовья. — Правда, что так нарисовано, — сказал он.

Дверь закрылась за ним без звука.

Глава 5. Дом

Говорят, у бесов нет домов и живут они в огне, как саламандры. Откуда это известно говорящим, не знаю.

Хроника брата Матиаса

Шорох встретил его у самой двери, ещё до того, как Велар снял уличную оболочку, и сразу полез обнюхивать стопы: так он узнавал, где хозяин был и с кем говорил. Сегодня Шорох нюхал долго: Велар принёс на стопах лечебницу, институтский холод, старый камень Совета. Шорох был мелкий, шестилапый, с мягкими пластинками на спине и слишком длинным для своего роста носом, и соседи снизу писали на него жалобы за то, что по ночам он скребся в пол. Велар отодвинул его ногой, прошёл очистку — продувку, щётку для стоп, — повесил оболочку на крюк и проверил замок входной двери. Потом ещё раз.

В общей комнате было тепло и пахло ужином. Иларен сидела у стены с экраном, Севил — на полу, на подстилке, с листом рисовального пластика на коленях, и обе смотрели на одно и то же. На экране был лист. Тот же кадр, который весь вечер крутили в новостях: манипуляторы держат за углы развёрнутый прямоугольник, в углу горит отметка записывающего блока. Велар узнал эту отметку ещё в поезде, когда кадр впервые пришёл к нему в сводке, и с тех пор она не шла у него из головы.

— Ты знал? — спросила Иларен, не оборачиваясь.

— С утра.

— И не сказал.

— Мне запретили.

— Это я понимаю, — сказала Иларен. — Я спрашиваю, почему ты не сказал.

Велар не ответил. Севил не подняла головы. Она перерисовывала с увеличенного кадра линии листа, по одной, медленно, и чертила его собственной лекальной линейкой, той, что всегда лежала у него в ящике на одном и том же месте. Велар прошёл мимо неё на кухню и ничего не сказал. Линейку он заберёт потом.

* * *

За ужином экран не выключали. Иларен сделала томлёную массу с хрустящими минеральными пластинками, любимую еду Севил с детства. Значит, про лист жена знала раньше, чем он пришёл, и раньше, чем спросила, знал ли он. Ели молча. Ведущий сменился другим ведущим, потом пожилым толкователем из старого прихода в Дервале — в белом, с рогами, выкрашенными в цвет старой кости. Толкователь говорил медленно и с удовольствием: старые учили не открывать трещин, холод смотрит на нас давно, и теперь мы получили этому подтверждение, нарисованное его собственной рукой.

— Его собственной рукой, — повторила Севил. — Холода. Прекрасно.

— Он не первый, — сказала Иларен. — К ночи их будет десять.

Терминал толкнул Велара в запястье. Писал Радан Талвер, коротко, как пишут по службе: «Кадр с блока Дорела. Совет пока не знает. Решать вам». Велар перечитал. Он вспомнил, как утром Келин сказал «и я хотел посмотреть, что будет», и как он сам не мог решить, хорошо это или плохо, и так до сих пор и не решил. Выставить Дорела из экспедиции было бы правильно. Найти за тринадцать суток другого техника, который знает установку так, как её знает Дорел, было нельзя. Велар написал «Он идёт» и убрал терминал, не дожидаясь ответа.

— Смотри, — сказала Севил.

Она поднялась с подстилки и положила перед ним свой лист. Это были те же линии, что на экране, — когти, рога, складки покрыва на ложе, — но перерисованные в два цвета.

— Это не рисовали, это резали, — сказала она. — Видно по краю: линия начинается широко, а кончается остро, так режут, а не ведут. Я весь вечер на это смотрю. Вот эти, —

она провела пальцем по красным, по когтям и рогам, — резали быстро и с нажимом. Тут, смотри, нож сорвался и пошёл дальше, чем надо, и это не стали исправлять. А вот эти, — синие: лицо лежащего, его руки, складки под ним, — медленно. Тонко. Каждую по несколько раз: тут подправлено, тут подрезано. Тот, кто это резал, с нами торопился. А над ним сидел долго.

— Это домысел, — сказал Велар.

— Это ремесло. — Севил смотрела на него спокойно, и в этом спокойствии он узнал Иларен. — Ты по кривой давления видишь, где насос откажет, раньше, чем он откажет. Я по линии вижу, где у резчика дрогнула рука.

Велар хотел ответить, что рука, которая режет, и рука, которая держит нож, не обязательно одна и та же и что вообще неизвестно, есть ли у них руки в нашем смысле, — и вспомнил пять пальцев на руке лежащего, и промолчал. Вспомнил он и то, что сказал ему утром отец: «Ты смотрел, сколько ей за это платят».

— Покажи деда, — сказал он.

Севил не поняла.

— Ты рисовала деда в котле. Покажи.

Она долго смотрела на него, словно проверяла, не шутка ли это, потом ушла в свою прохладную комнату и вернулась с папкой. Дед был на третьем листе. Он сидел в котле по плечи, злой и смешной, с мутными от пара глазами, и свет на рисунке был тот самый, тёмно-красный, и Севил сделала из него низкий потолок: свет давил на старика сверху, и старик смотрел снизу вверх на санитара у панели — так смотрят на того, от кого зависит, когда это кончится.

Велар разглядывал рисунок и думал о том, что отец был прав, что свет в лечебнице плохой и что сам он утром этого не увидел, хотя сидел там и смотрел на панель.

— Свет у тебя правильный, — сказал он наконец.

— Это первое, что ты сказал про мою работу за три года, — сказала Севил. Голос у неё был ровный, но хвост ушёл под стол и там замер.

* * *

Иларен убрала тарелки. Ведущие на экране сменились снова. Севил собрала папку, но не ушла.

— Ты всё равно пойдёшь? — спросила она.

— Совет подтвердил срок.

— Я не про Совет спрашиваю.

— Пойду.

— Туда, где нас рисуют смертью.

— Туда, где есть канал, — сказал Велар. — Рисунок — это то, что о нас думают. Канал — это то, что есть.

— Разница, папа, в том, — сказала Севил, — что канал не знает, кто через него пойдёт. А они знают.

Велар не нашёл, что ответить, и ответила за него Иларен — так, как отвечала всегда, когда разговор в доме доходил до края: вопросом о деле.

— Я считала ваши костюмы, — сказала она. — Обогрев. Ты знаешь, какой там запас?

— Трое суток с резервом.

— Трое суток, если не будет воды. Если будет, я не знаю сколько. И никто не знает, потому что никто не знает, сколько там на самом деле воды. — Она вытерла руки. — Я не прошу тебя не ходить. Я прошу, чтобы ты знал, что я это считала.

Они помолчали. Шорох пришёл из прихожей и улёгся у ног Севил, сунув нос ей под колено.

— Мам, — сказала Севил. — Расскажи про холодных.

Иларен посмотрела на неё с удивлением. — Тебе двадцать четыре года.

— Расскажи, как рассказывала.

Иларен села рядом с ней на подстилку, и голос у неё стал тем голосом, каким в темноте говорят с детьми. — Высоко в горах, — сказала она, — где воздух тонкий, а камень холодный, есть трещины, из которых тянет стужей. Ночью к ним не подходят. Потому что из трещины может выйти холодный. Он белый и мягкий, без пластин и без рогов, и он плачет водой. Он ищет тепла и тянет к тебе руки, и если ты его пожалеешь и дашь себя коснуться, он растает у тебя в руках, и твоё тепло уйдёт вместе с ним. Поэтому трещину не ковыряют, к холодному не подходят и тёплых камней ему не дают. — Она помолчала. — Ты всегда на этом месте спрашивала, что будет, если всё-таки дать.

— А ты всегда говорила: спи.

Севил посмотрела на экран, где пятеро рогатых тянулись к мягкому, голому, лежащему. — Мы для них то же самое, — сказала она. — Мы их холодные.

Никто ей не ответил. Ведущий на экране как раз сообщал, что Совет безопасности подтвердил: экспедиция состоится в назначенный срок, по усиленному протоколу.

* * *

Ночью, когда все легли, Велар снова проверил замок. Потом ещё раз. На третий раз он, сам не зная зачем, достал из кармана детский ключ на обрывке шнура, тусклую пластинку с кольцом и двумя рожками, и приложил её к замку. Замок даже не отозвался. Велар постоял, держа пластинку на ладони, и положил её обратно в карман.

Глава 6. Девять

Брат привратник насчитал их двенадцать, Ульрих — семь. Я насчитал девять и записываю девять, потому что считал сам и дважды.

Хроника брата Матиаса

Весы в старом испытательном зале ставили когда-то под грузовые тележки, и человек в полном костюме смотрелся на их платформе как деталь, которую забыли снять после сборки. Тарил Варрен постоял, пока табло перестанет мигать, и сказал, не поднимая смотровой пластины:

— Запишите, что это кость. У нас в роду все тяжёлые в кости.

— Триста девяносто четыре, — сказал Севар от пульта. — Вместе с костью.

Велар вписал число в ведомость. Ведомость он вёл от руки, хотя Севар дублировал каждое взвешивание в систему: рукой выходило медленнее, и каждое число успевало задержаться в голове. Себя он взвесил утром, раньше всех, и вписал первым. Сегодняшние числа ему не нравились. У горловины был предел массы, после которого края окна начинали дрожать, и ещё три дня назад, пока костюмы оставались научными, лёгкими, с обычной защитой швов, под этим пределом набиралось почти на десятого человека с костюмом и обогревом. Велар собирался прийти с этим к Малхору: возьмём обоих, и третьего охранника, и связиста. Потом мастерская выполнила протокол Талвера. Тяжёлый вариант, водозащитные манжеты на всех сочленениях, усиленное шейное кольцо — сорок один килограмм на костюм. Девять раз по сорок один и было десятым.

Тарил сошёл с платформы и по дороге заглянул Велару через плечо.

— Тридцать лет я мерил чужие атмосферы на расстоянии, — сказал он, — и никто ни разу не спросил, сколько вешу я сам. Полевая работа унижительна, профессор. Меня предупреждали.

Харин Сорен встал на платформу осторожно, сначала одной стопой, потом другой. Костюм сидел на нём иначе, чем на остальных: Харин был шире стандартной выкройки, плечевые швы мастерская перешивала дважды, и манжеты на плечи так и не легли — упирались в шейное кольцо. Севар оставил плечи на обычном уплотнении и записал отступление от протокола, а Велар отступление утвердил, потому что другим выходом был новый костюм, а нового костюма за девять суток не сшил бы никто. Харин потоптался, глядя на табло, и спросил, нельзя ли, раз уж он такой широкий, считать его за полтора охранника.

— Нельзя, — сказал Радан из другого конца зала. Он сидел на ящике с запасными фильтрами и на весы не смотрел.

Келина Дорела Севар остановил у самой платформы:

— Снимай.

После утечки они с Келином ни разу о ней не говорили. Келин, видимо, ждал разговора, а Велар его не начинал и чем дальше, тем меньше понимал, что в этом разговоре скажет. Келин снимал блоки по одному и раскладывал их на полу в ряд, объективами в одну сторону: наплечный, нагрудный, два на запястья и ещё один, которого Велар раньше на нём не замечал, на шейном кольце, под самой пластиной. Без них Келин стал похож на всех остальных. Табло показало триста восемьдесят.

— Один блок, — сказал Келин, сойдя с платформы. — Сверх нормы. Наплечный, на всю съёмку без перерыва. Он лёгкий.

— У нас нет лёгкого, — сказал Велар.

Келин хотел ответить, посмотрел на ведомость у Велара в руках и не ответил. Он собрал блоки с пола, и одна его рука по дороге задержалась на кармане пояса, а потом ушла оттуда пустой.

Илен Келар пришёл из раздевалки вдоль стены, хотя от двери до весов было шагов двадцать по прямой. Велар отметил это, как отмечал всё в этом зале, без вывода, на будущее. Илен взвесился, сошёл и вернулся к стене, к стеллажу с баллонами, и стоял там, пока не позвали следующих.

Мерен взвешивалась утром и теперь торговалась с Севаром за контейнеры для проб. Каждый контейнер был ещё одним килограммом, каждый килограмм Севар отдавал с боем, и разговаривали они вполголоса и очень вежливо, а хвосты у обоих ходили из стороны в сторону, как у двоих, которые встретились на узком мосту.

Радан, прежде чем встать на весы, присел у ограждения платформы и подтянул ослабший ремень.

— Для этого есть я, — сказал Севар.

— Вы были заняты, — сказал Радан и встал на платформу.

Последними взвешивали двоих на одно место. Аскел Вирн пришёл с Раданом из городской спасательной службы, проработал там, как говорили, двадцать лет на обрушениях и за эти дни в институте произнёс при Веларе от силы сорок слов. Он был массивнее Радана, тёмный, почти без спинных складок, и в костюме ни разу не задел ни одного угла. Нарек Саврен надел костюм второй раз в жизни. Первый был накануне, на примерке, и Нарек ещё не привык, что собственный голос приходит к нему из шлема с запозданием и как будто чужой, и проверял это, разговаривая по общему каналу.

— Странно, — говорил он, пока Вирн стоял на платформе. — Я себя слышу как через стену. Вы тоже? Наверное, нет, вы привыкли. Интересно, есть у них слово для нас в костюмах? Скорее всего, нет, на листе мы без костюмов, так что им нечем нас в костюмах назвать, если только они не... Вы с командиром Талвером служили вместе?

— Служил, — сказал Вирн.

— Долго?

Вирн не ответил. Нарек подождал и заговорил снова, теперь о том, как по-разному в разных городах называют шейное кольцо, и в этом месте Тарил, не включая микрофона, постучал по шлему Нарека костяшкой пальца.

— Тебя и без канала слышно, — сказал он снаружи.

Радан слушал всё это со своего ящика и молчал. Велар записал: Вирн — четыреста тридцать один, Саврен — триста семьдесят. Табло он больше не смотрел. Он смотрел на Радана.

* * *

Погребом в институте называли холодный зал на краю испытательного поля, единственное место в Сарвеле, где холод держали нарочно. Зал откачивали до той же тонкости воздуха, что на той стороне, охлаждадали, пока стены не начинали потрескивать, и заливали светом, снятым с зондовых записей, таким резким, что смотровые пластины от него темнели сами. Пол разметили по снимкам: точка выхода у самой стены, точка маяка в семи шагах к западу, а в тридцати шагах — то, что на снимках выглядело круглой каменной кладкой с водой внутри. Разметка была условной, потому что зонды видели тот двор с высоты собственного роста и недалеко, но условность здесь никого не смущала. Двор всё равно будет другим. Учили тело.

Велар сидел за стеклом пульта, перед ним шли девять кривых: пульс, температура под покровом, расход обогрева. Восемь подписаны, девятая — «Вирн/Саврен», через черту; кандидатов гоняли по очереди. Группа вышла, построилась, Севар с Келином поставили учебный маяк, Радан и Харин встали по сторонам, а Мерен, Тарил и Илен с кандидатом на девятое место пошли через открытый пол к кладке за пробами. Потом Севар прошёл вдоль строя с распылителем и окатил каждого по сочленениям. Вода в погребке была почти той же температуры, что воздух, и на манжетах собиралась в шарики и скатывалась, а на плечах у Харина держалась дольше, пока Севар не смахнул её перчаткой.

— Трещина, — сказал кто-то на канале, коротко и тихо. Велар не стал смотреть, кто.

Кривую Илена он заметил на втором заходе. Пока группа стояла у точки выхода, со стеной погребца за спиной, пульс Илена держался там же, где у всех. На открытом полу он пошёл вверх и встал почти вдвое выше нормы, у кладки чуть опустился, на обратном пути снова поднялся и упал, только когда Илен коснулся стены плечом. На третьем заходе было то же самое. По заданию на обратном пути «падал» охранник, и Илен должен был вскрыть ему уплотнение на запястье, не выпустив тепла. Охранником в этот раз был Вирн. Илен опустился рядом с ним на колени, там, где его кривая стояла выше всего, и снял уплотнение быстрее, чем неделю назад, ни разу не ошибившись в порядке.

* * *

В раздевалке Илен подошёл к нему сам, со шлемом под мышкой.

— Ты видел, — сказал он.

— Я видел кривую.

— Это одно и то же.

Велар не стал спорить. Он знал Илена шестнадцать лет, с первых испытаний в погребе, когда тот был просто врачом при институте и лечил лаборантам пальцы, обожжённые о холодные трубы. За шестнадцать лет Велар ни разу не видел, чтобы Илен шёл через пустое место. Тот всегда находил стену: в столовой садился к ней спиной, в лекционном зале выбирал боковой ряд. Велар замечал это и раньше, просто не складывал.

— Там стен не будет, — сказал Велар.

— Там видно так далеко, что нет края. — Илен положил шлем на скамью. — Я смотрю снимки каждый вечер. По часу, пока не перестает мутить. Вчера дошёл до часа с четвертью.

— Почему ты не сказал?

— Потому что ты бы записал. — Илен сел. — Послушай. Если там с кем-то что-нибудь случится, держать его буду я. Вирна можно заменить кем-нибудь из службы Талвера, Саврена — кем-нибудь с кафедры. Меня заменить нечем. За девять суток ты не найдёшь врача, который работал в погребе, знает эти костюмы изнутри и умеет вскрыть шов на холоде так, чтобы человек не остыл. Я прошёл сегодня все три раза. Руки ты видел.

Руки Велар видел.

Он открыл журнал испытаний. Каждую строку в журнале полагалось ставить в форме очевидца: прибор видел, и я видел прибор. Велар вписал: «Келар. Пульс при пересечении открытого поля повышен, работа выполнена полностью». Это было то, что он видел. Потом в графе допуска написал «допущен» и поставил при этом слове знак вывода, а не очевидца.

— Вывод, — сказал Илен, читавший через плечо.

— Кривую видел я. Что с ней можно идти, я заключаю сам. Если я ошибся, это ошибка моя, и в журнале будет видно чья.

Илен ничего не ответил и потянулся за шлемом.

— Там будет маяк, — сказал Велар. — Держись маяка.

— Маяк мне по пояс.

— Зато его не сдвинешь. Я его взвешивал.

* * *

Радан пришёл вечером, когда в зале оставались только Севар и двое из мастерской, сел напротив Велара и положил на стол свою копию ведомости.

— Манжеты съели десятого, — сказал Велар.

— Я видел.

— Три дня назад мы могли взять обоих.

— Три дня назад у нас были лёгкие костюмы. — Радан провёл пальцем по столбцу. — Снимите манжеты с моего. Сорок один.

— До десятого не хватает трёхсот девяноста.

— Тогда с моего и с костюма Вирна.

— Тогда их незачем было ставить, — сказал Велар, и Радан, подумав, с этим согласился. Девятая строка в ведомости была пустой. Оба имени Велар выписал рядом, на поле, карандашом.

— Вирн, — сказал Радан.

— Саврен.

— Вы его сегодня слышали.

— Слышал.

— Он говорит, когда ему не отвечают. Чем дольше не отвечают, тем больше говорит. Это есть в его деле, я не придумываю: кафедра вписала это в характеристику как достоинство.

— Радан говорил, как всегда, тихо. — Там ему отвечать не будут. Там, может быть, вообще не поймут, что он говорит, а увидят, что один из нас идёт прямо на них, руками водит и не замолкает. На листе у всех из рта ленты, кроме того, кто лежит. Я не хочу, чтобы лежал наш.

— Если мы их встретим, — сказал Велар, — кто-то должен понять, что они говорят, раньше, чем вы решите, что они угрожают.

— Значит, вы понимаете, что решать я буду быстро.

— Понимаю. Поэтому и нужен Саврен.

Радан посмотрел на него внимательно, как смотрят на показания, которые сходятся не со всеми остальными. — Вы боитесь отпустить его или боитесь идти без него?

— Мне не нравится число неизвестных. Без связиста их больше.

— Без третьего охранника их больше у меня. — Радан поднялся. — Малхор ждёт состав к концу шестых суток. Если не договоримся, решит сам.

— Он решит в вашу пользу.

— Скорее всего, — сказал Радан. — Поэтому я пришёл к вам, а не к нему.

* * *

Назавтра в мастерскую пустили семьи. Обычай был старше института, его принесли из горных выработок: перед долгой работой под землёй родные приходили посмотреть, во что одели их людей, и потрогать снаряжение руками. Иларен не пришла. Накануне она сказала, что видела костюм в расчётах и этого ей довольно. Не пришла и Севил. Велар этого ждал и всё равно дважды оборачивался, когда открывалась дверь.

Лири пришла с Мирилом на руках и, не успев поздороваться, отдала его Харину, потому что ребёнок рвался из рук к отцу, а отец стоял в костюме, со шлемом на сгибе локтя. Мирилу было восемь месяцев. Рога у него только наметились, два мягких бугра под тонкой кожей, пластины на спине ещё не затвердели, и держать его полагалось под грудь, чтобы не мять. Харин держал правильно и неловко, как держат хрупкий прибор в толстых перчатках. Мирил обследовал шлем: потрогал смотровую пластину, лизнул край шейного кольца, потом обхватил хвостом рожковый чехол, плотный, с обогревом, куда в рабочем положении уходили рога, и отпускать его не стал.

— Он так держится за всё, что выше него, — сказала Лири Велару. — За стул, за лампу. За соседского зверя.

Она дождалась, пока Севар отвлечёт Харина проверкой шейного кольца, и подошла ближе. — Он вас не попросит, поэтому прошу я. Ему нужно поставить в костюм записывающую пластинку. Маленькую. — Она показала пальцами, с последнюю фалангу. — Он записал Мирилу двадцать посланий наперёд, по одному на день. Я спросила, зачем двадцать, тебя же нет три дня. Он сказал: три дня там и семнадцать в карантине.

— Карантин двенадцать суток.

— Я ему так и сказала. Он говорит: пять про запас.

— А там пластинка зачем?

— Записывать там. Что видел. Он говорит, Мирил потом спросит, где был отец, и ответ должен быть в форме очевидца, а не с чужих слов. — Лири помолчала. Края рогов у неё оста-

вались ровными. — И в конце каждой записи он поёт. Этого он вам тоже не скажет. Мирил засыпает только под его голос, под мой — нет. Когда Харин на сменах, я ставлю ему на ночь запись.

Велар посмотрел на Харина. Тот стоял у шейного кольца с ребёнком на руках, Севар объяснял ему устройство уплотнения, а Мирил, не выпуская хвостом чехла, сосредоточенно жевал собственный палец.

— Севар, — позвал Велар. — Сколько весит записывающая пластинка с креплением?

— Сорок граммов, — сказал Севар, не оборачиваясь. — С разъемом под питание костюма — сорок четыре.

Харин понял, о чём речь, раньше, чем Велар успел что-нибудь сказать, и края рогов у него налились жаром так, что это было видно через весь зал.

— Ставь, — сказал Велар.

Вечером он вписал в ведомость сорок четыре грамма отдельной строкой, с пометкой «личное, Сорен», и пересчитал остаток. Под пределом окна оставалось ровно на одного человека в костюме и с обогревом, на любого из двоих, с запасом в шестьдесят один килограмм, если это будет Нарек. Велар отправил ведомость Радану с обоими именами на девятой строке.

Ответ пришёл сразу, в два слова, в форме очевидца: «Вирн молчит».

Глава 7. Вода, которая течёт снаружи

В среду Четырёх времён после Воздвижения послужник Михаэль нашёл у колодца, в луже, вещь из тёмного металла величиной с кошку, о шести ногах. Вода вокруг неё ещё курилась, хотя утро было холодное. Отец приор велел окропить её и отнести в погреб. Я видел её сам, когда жара в ней уже не было.

Хроника брата Матиаса

Мерен ела медленно, и за пультом это было удобно: одной ложки хватало на целый пакет данных. Пакеты шли с той стороны через щель между окнами, тонкую, как волос, приходили с перерывами и не по порядку, и Мерен складывала их в ленту, а лента, сложившись, показывала двор глазами ползуна. Ползун был размером с домашнего зверя, на шести коротких ногах, с обогревом, которого хватило бы на небольшую комнату, и с лампой, потому что на той стороне была ночь. В конусе лампы, рывками, от пакета к пакету, проплывали мокрые камни, стебли с каплями на концах, утоптанная тёмная земля. Всё это оставалось неподвижным, пока ползун не трогал его ногой.

Ползун был пятьдесят третьим зондом и первым, кого выпустили на всю ночь. Предыдущие жили минуты. Мастерская собирала его две недели, каждый шов проваривала дважды, и Севар, отдавая его, сказал, что, если утонет и этот, больше он ей ничего не даст, кроме совета. Окно на возврат откроют на рассвете той стороны. До рассвета, по расчётам Тарила, оставалось часов семь.

Тарил сидел рядом, в собственном кресле, которое привёз из своей лаборатории, потому что в институтских, по его словам, хвост ложился не туда, и читал атмосферу. Температуру снаружи он перестал называть вслух ещё в первый час.

Мерен вела запахи. Анализатор на брюхе ползуна втягивал воздух у самой земли, и всякий раз, когда ползун переворачивал ногой мокрый ком, в ленте вставал один и тот же пик: маленькая кольцевая молекула, такая, какой Мерен не встречала ни в справочниках, ни в пробах из камеры. Её там почти не было, но прибор ловил её сразу, с первого вдоха. Мерен завела для неё строку в каталоге и подписала не формулой, а так, как подписывала ампулы: «Мокрая земля. Ночь. Та сторона».

* * *

К середине ночи ползун дошёл до кладки. Вблизи она оказалась кольцом из камней в рост ползуна. Камни были подогнаны один к другому, а в зазорах стояло серое, затвердевшее, со следами плоского инструмента, которым его разглаживали. На краю кольца стоял короб из тонких выгнутых дощечек, стянутых металлической полосой, с ручкой из той же полосы, и от ручки через край уходила вниз верёвка.

— Они держат воду в ящике из мёртвых растений, — сказал Тарил. — И опускают его на верёвке в другую воду. Зачем доставать воду там, где она и так везде?

— Может быть, эта вода другая.

— Вода не бывает другой. Вода бывает только водой, поверь специалисту по средам. — Тарил помолчал. — Хотя они и ящик из мёртвых растений не постеснялись сделать. Может быть, у них и вода разная.

По камням кладки, там, где по ним стекало, лежал тонкий налёт, который в глубоком диапазоне светился так же, как лоскут из камеры, и Мерен отправила ползуну команду соскребсти его. Команда шла через щель с задержкой, ползун выполнил её, когда Мерен уже решила, что он её не получил, и вытянул из брюха пробоотборник. Под его маленьким микроскопом налёт оказался лесом. Нити, пучки нитей, плоские зелёные клетки, сложенные стопками, и в промежутках между ними, в воде, — движение: палочки, шарики с бахромой, всё то, что

она видела в капле на лоскуте, только в сто раз гуще. Потом в кадр, раздвигая нити, вошло животное.

Его нельзя было назвать иначе. У него было тело, разделённое на части, голова или то, что служило ему головой, и восемь коротких толстых ног с крючками на концах, и он шёл. Он переставлял ноги по очереди, цеплялся крючками за нити, подтягивался, и шёл по своим делам через лес, которого Мерен до этой ночи не могла бы даже представить.

— Тарил, — сказала она.

Тарил наклонился к экрану и некоторое время молчал. — Это в воде, — сказал он наконец.

— Это в воде, на камне, на ящике, на стеблях, во всём, что там мокрое. А там мокрое всё.

Она говорила ровно, на лекционной скорости, и сама это слышала. Когда ей становилось страшно, она начинала описывать; Тарил этого не знал, а Велар знал и обычно в такие минуты уходил к своему пульту. Она описала животное: размер, членение, число ног, крючки, способ движения. Описала, что видела его целиком и долго, около сорока ударов сердца, прежде чем пакет оборвался. Записала всё это в форме очевидца, перечитала и ничего не исправила.

* * *

Звук пришёл в середине следующего пакета, и Мерен сначала приняла его за помеху. Удар, низкий и долгий. Он не обрывался, а расходился и гас медленно, так медленно, что следующий удар приходил раньше, чем гас прежний. Через равные промежутки. Мерен насчитала двадцать семь ударов и сбилась, потому что пакет кончился, а следующий начался с тишины.

— Это не вода, — сказал Тарил.

— Нет.

— И не воздух. Ветер так не умеет, ему нужно, обо что задеть, а задевать там нечем: воздух пустой. — Тарил отмотал ленту, послушал ещё раз. — Металл. Большой металл, и бьют по нему тяжёлым. Или он сам бьёт.

Потом, после тишины, пришёл гул. Ровный и низкий, он поднимался, держался и опадал, обрывался и начинался снова, и Мерен, которая плохо различала звуки, но хорошо — повторения, заметила, что опадает он всякий раз одинаково, одним и тем же ходом, как будто кто-то спускался по одной и той же лестнице.

— Насосы, — предложил Тарил. — Где-то у них работают насосы.

— Насосы не опадают одним и тем же ходом.

— Значит, у их насосов есть привычки.

Мерен вырезала из ленты удары и гул, сложила в отдельный файл и подписала: «Звук. Источник не установлен». Подумала и дописала: «Для Саврена». Нарек с его лентами из ртов был единственным, кого она знала, кто слушал бы это не ушами специалиста по средам.

* * *

Под утро Тарил перестал шутить.

— Влажность у земли полная, — сказал он. — Воздух над ними остывает. Если у них работает то, что я думаю, а оно у них работает, раз у них всё мокрое...

— Говори проще.

— Сейчас вода пойдёт сверху.

Мерен решила, что «сверху» — фигура речи. Через два пакета в конус лампы влетела капля. Она упала сверху, наискось, разбилась о камень и разлетелась в стороны мелкими брызгами, и за ней упала вторая, потом десять, потом столько, что их перестало быть видно по отдельности и стало видно, как они идут сплошь. Вода падала с неба. Она падала на камни, на землю, на ящик из мёртвых растений, на ползуна, и на горячем корпусе каждая капля взрывалась паром, и через минуту ползун сидел внутри собственного облака, а кривая обогрева пошла вверх.

Мерен начала описывать вслух. Размер капель — с ноготь, с полногтя. Скорость. Угол падения. То, что капли, падая на землю, не впитываются сразу, а собираются. Тарил её не перебивал.

Она отправила ползуну команду «укрытие». Он нашёл его сам, раньше, чем команда дошла: короб на четырёх колёсах у стены, на высоких колёсах со спицами, из длинных досок, и забрался под него. Доски над ним были распилены: на торцах шли ровные частые бороздки, одна к одной, и в доске торчали шляпки металлических стержней, вбитых до самого дерева. Мерен успела это записать. В другой раз она просидела бы над этими досками до вечера.

Потом вода, которая падала, потекла.

Она собиралась из капель в нити, из нитей в ручьи и бежала по земле, огибая камни, вниз, к кладке, и несла с собой землю, стебли, мелкий сор. Её никто не гнал, не было ни трубы, ни насоса, ни желоба, она просто текла, сама, по открытой земле, и земля под ней темнела и плыла. Под коробом с колёсами пошёл свой ручей. Ползун переступил, переступил ещё раз, ноги у него разъезжались, Мерен видела это по датчикам опоры раньше, чем по картинке, и отправила ему команду держаться, хотя знала, что команда дойдёт поздно.

Ползун съехал. Его вынесло из-под короба на открытое место, развернуло и потащило вниз вместе с землёй, и картинка закувыркалась: небо, из которого шла вода, камни, свет лампы в воде, снова небо. Потом картинка встала. Ползун лежал на боку в луже у самой кладки, и вода в луже была ему по брюхо.

Обогрев вышел на предел. Мерен видела, как вокруг корпуса закипело: лужа у бока ползуна вспухала паром, пар уходил вверх, его прибывало каплями, и холодная вода подходила снова со всех сторон, потому что её было сколько угодно, и сверху всё шло новое. Кривая температуры корпуса пошла вниз. Она шла ровно, без рывков. Такую ровную кривую Мерен видела однажды, в последний год отца, на распечатке плотности его костей. С той кривой тоже ничего нельзя было сделать, только смотреть.

— Нижний шов, — сказал Тарил. — Давление внутри падает.

Вода вошла внутрь. Пробоотборник отказал первым, потом анализатор, потом картинка. Последний кадр был мутный и наполовину белый от пара, и в нём, у самого объектива, стоял стебель с каплей на конце.

Микрофон у ползуна сидел на отдельном питании, и он ещё работал. Пакеты шли редкие, почти пустые: шорох воды по корпусу, бульканье, ровный плеск сверху. Мерен не выключала. Тарил тоже сидел и слушал, держа на коленях сложенные руки.

— Она у них ходит по кругу, — сказал он, не поднимая головы. — Вода. Я знал это по цифрам и не верил цифрам. Поднимается паром, остывает наверху, падает, стекает вниз и снова поднимается. Через воздух, через землю, через всё, что там живёт. Всё время, без остановки.

— Значит, всё живое у них сидит внутри этого круга.

— Значит, и мы будем сидеть внутри него трое суток. — Тарил разжал руки и сложил их снова. — Тридцать лет я хотел постоять в чужой атмосфере. Надо было хотеть чего-нибудь поменьше.

Перед самым рассветом той стороны, в последнем пакете, снова пришли удары. Тот же низкий долгий звук, через те же равные промежутки. Мерен насчитала восемь, потом пакет кончился, и больше пакетов не было.

* * *

Окно открыли в положенное время, подержали, сколько позволяла установка, и закрыли пустым. Севар, стоявший у переходной камеры, ничего ей не сказал и, проходя мимо её пульта, коротко коснулся пальцами её плеча. Это было больше, чем Мерен ждала от Севара за всю жизнь.

Велар пришёл в начале рабочего дня, прочитал ленту стоя, от начала до конца, и спросил только, сколько времени корпус держал тепло в воде. Мерен назвала число. Велар записал его в свою ведомость, туда, где у него стояли костюмы.

Она написала отчёт. «Зонд пятьдесят три потерян. Причина — вода. Вода падает сверху и течёт по земле. Видела сама». Над формой очевидца она задержалась и оставила её. Потом подумала о манжетах, которые Талвер повесил на все костюмы и которые съели Велару десятого человека, и решила, что Севару этого говорить не станет.

Файл со звуком она отправила Нареку Саврену отдельно, с одной строкой: «Это не вода и не ветер. Послушай, когда будет время».

Глава 8. Колокол

Звоним к часам семь раз днём и единожды ночью, по Правилу: septies in die laudem dixi tibi. Звон слышен до Нижней мельницы, а при южном ветре и дальше. Насколько дальше, я тогда не знал.

Хроника брата Матиаса

К полудню Нарек выучил ход, которым опадал гул, и тот начал звучать в нём сам: низко, в груди, на выдохе, стоило отвлечься. Дважды Нарек слышал его от себя — в столовой и в лифте, — и во второй раз пожилая лаборантка рядом посмотрела на него так, как смотрят на того, кто напевает в лифте. Ход был короткий, в четыре ступени: голоса держались на одной высоте, потом спускались, задерживались на предпоследней ступени и ложились на нижнюю. Каждый раз одинаково. Тарил, по словам Мерен, сказал, что у их насосов есть привычки, и Нарек полдня собирался ему ответить, а ответ нашёл к вечеру, когда в двадцатый раз растянул запись и услышал паузы.

Гул обрывался неравномерно. Обрывы стояли не через одинаковые промежутки, а там, где у поющего кончается воздух. Короткий вдох, на полвздоха, и снова звук, причём обрывался он не сразу везде: одни голоса уходили на вдох раньше, другие позже, и в каждом обрыве было слышно, что гул сложен из многих отдельных ниток. Насосам не нужно дышать. Нарек записал это на листе, обвёл и написал рядом: «Тарилу».

Потом он услышал второе. Гул шёл кусками, и куски были двух цветов: один чуть ниже и гуще, другой чуть выше и тоньше. Низкий кусок кончался ходом в четыре ступени, после него начинался высокий и кончался тем же ходом, потом снова низкий. Две группы. Они отвечали друг другу. Говорили, может быть, одно и то же, но по очереди, и ни одна не начинала, пока не закончит другая. Нарек снимал наушники и надевал их снова, и каждый раз, надевая, надеялся, что ошибся, потому что из этого следовало слишком много сразу, а из таких открытий потом приходится долго вылезать. Он не ошибся.

Ему нужно было больше. Одна ночь и одно утро ничего не доказывали. Удары, после них пение — это могло быть событием, похоронами, праздником, чем угодно, что случается раз. Нарек сидел над листом, на котором были обведены «Тарилу» и «две группы», и думал, где взять ещё записей с той стороны, если зонды живут минуты, а ползун лежит в луже.

* * *

— Приборы не слушают, — сказал Велар. — Они меряют давление.

— Звук и есть давление, — сказал Нарек.

Севар, сидевший за пультом спиной к ним, коротко и низко выдохнул несколько раз подряд и загудел грудью. Это был смех. При Нареке Севар не смеялся ни разу и, по слухам, ни при ком. Велар обернулся на Севара, потом снова посмотрел на Нарека, и по тому, как у Велара застыл хвост, Нарек увидел, что тот уже всё понял сам и что ему это неприятно.

— Калибровка, — сказал Велар. — Микроокна. Мы открываем их каждые сорок минут, на несколько секунд, проверяем геометрию по датчикам давления на краях. Четвёртый месяц.

— Датчики пижут быстро?

— Тысячи раз в секунду. Всё, что не геометрия, фильтр выбрасывает как шум.

— Выбрасывает куда?

— Никуда, — сказал Севар, не оборачиваясь. — Я ничего не стираю. — Он помолчал. — Теория опять нуждается в гаечном ключе. Тебе сырые логи с краёв, за все четыре месяца, с отметками света той стороны?

— Да, — сказал Нарек. — Пожалуйста.

— Пожалуйста, — повторил Севар, будто пробуя слово на прочность, и стал искать.

Доступ к сырым логам подписывали люди Малхора. Охранник в сером, тот же, что в первый день, прочитал имя Нарек в заявке и сказал: «Саврин». Нарек повторил за ним шёпотом и поправлять не стал.

* * *

Логов оказалось четыре тысячи с лишним кусков, по три-пять секунд каждый. Нарек позвал на ночь Залин, лаборантку Мерен, потому что та знала архив и, как выяснилось к первому часу, слышала быстрее него. Они пропустили все куски через фильтр наоборот: выбросили геометрию и оставили шум. Большая часть шума оказалась шумом — ветер у самой горловины, шорох, дробь, которую Мерен теперь узнала бы сразу и которую Залин, послушав, назвала «вода сверху». Но в некоторых кусках стояли удары, а в некоторых — обрывок гула, иногда в полвздоха, иногда на целый ход в четыре ступени.

— Как их называть? — спросила Залин к середине ночи. — В таблице. Мне нужно слово для столбца.

— Удар и пение.

— Вы уверены, что пение?

— Нет. — Нарек подумал. — Пиши «пение» в форме вывода.

К утру у них был круг. Сутки той стороны Нарек нарисовал кольцом, от первого света через последний свет и дальше через тьму, и поставил на кольцо каждый кусок, где были удары или пение, точкой в то место, где его записали. Точки не рассыпались по кругу. Они стояли кучками. Одна кучка во тьме, ближе к её концу. Одна с первым светом. Потом через неравные, но всякий раз одни и те же промежутки — ещё пять, по светлой части круга. И одна после последнего света, перед тьмой. Восемь. В остальных местах круга, где микроокна открывались так же исправно каждые сорок минут, не было ничего, кроме ветра и воды.

— Может, это машина, — сказала Залин. — Которая включается по часам.

— Смотри. — Нарек вывел точки по месяцам, отдельно. — Четыре месяца назад первый свет там приходил раньше. Теперь позже: у них темнеет, у них уходит тепло, если у них это называется теплом. И кучка у первого света ушла вместе с ним. И все остальные тоже. Они не держатся за часы. Они держатся за свет. Делят его на части и в каждой части собираются.

— Все?

— Тот, кто бьёт, бьёт для всех. Иначе зачем бить так громко.

Залин записала это в таблицу, в столбец примечаний, и, подумав, поставила форму вывода сама, не спрашивая.

Он взял четыре длинных обрывка пения и разложил их на голоса так же, как раскладывал когда-то в полевой записи хор на свадьбе в Тарвене, где у шести семей было шесть говоров. Голоса сливались, но в обрывах на вдох их можно было пересчитать хотя бы приблизительно, по числу отдельных ниток. Выходило не меньше двенадцати и не больше тридцати. Две группы, поровну или почти поровну.

У них есть время, думал Нарек, пока Залин спала, сидя, опираясь рогами о стену. Время, о котором договорились все. Восемь раз за сутки кто-то бьёт, и восемь раз за сутки много голосов собираются и говорят одними словами, по очереди, не перебивая. Такие не живут поодиночке и не сидят каждый в своей трещине. Такие умеют ждать, пока закончит другой. Он подумал, что впервые за неделю, с того дня, как увидел лист, думает о них без страха, и отложил это на потом, когда будет время.

* * *

Показывать он пришёл с одним листом, на котором был нарисован круг. Велар, Радан, Мерен, Севар. Тарила не было, и Нарек оставил записку «Насосам не нужно дышать» у Мерен на пульте.

Он говорил коротко, насколько умел. Удары и пение. Восемь мест на круге суток. Свет, за которым они ходят. Две группы, которые отвечают друг другу. Число голосов. Велар задал

два вопроса, оба про погрешность, Нарек ответил на оба, и Велар больше не спрашивал. Мерен спросила, есть ли в пении слова, и Нарек сказал, что не знает: внутри хода в четыре ступени звуки меняются, но язык это или просто голос, по таким обрывкам не поймёшь.

Радан слушал, не перебивая, и заговорил, только когда Нарек закончил. — Сколько их?

— Поющих — от двенадцати до тридцати. Сколько всех, не знаю.

— Где они поют?

— Не знаю где. Знаю когда.

— Двор пуст, пока они поют?

— Если поют все, — сказал Нарек. — Это вывод, командир. Но он сделан на четырёх месяцах и четырёх тысячах кусков. Если мы откроем окно в середину пения, во дворе будет меньше всего народу за все сутки. Если окно откроется в промежуток, они как раз будут идти петь или возвращаться.

— А если в тот день они не придут петь?

— Тогда это будет первое, что я узнаю о них нового.

Радан ничего не ответил. Он сидел, положив руки на колени, смотрел на Нарека и молчал.

Нарек знал, что это такое. Он читал такое молчание с детства, на рынке в Тарвене, в приёмных, в кабинете своего первого заведующего: собеседник замолкает и ждёт, и на четвёртый удар сердца ты уже говоришь, на шестой ты уже объясняешь, на десятый оправдываешься за то, чего не делал. В его деле так и было написано, он сам видел эту строчку. Он почувствовал, как поднимаются у него к горлу первые слова, ещё бесформенные, — что-нибудь про погрешность, про то, что они, может быть, поют не все, про то, что он, конечно, понимает. Нарек их не сказал. Вместо этого он стал считать. Между ударами той стороны был промежуток, долгий, почти невыносимый для того, кто ждёт следующего удара, и тот, кто бил, этот промежуток выдерживал каждый раз, двадцать семь раз подряд. Нарек считал промежутки про себя, по одному, медленно, как их отбивали там. На пятом промежутке он перестал хотеть говорить. На девятом Радан шевельнулся.

— Обычно вы в такие минуты говорите, — сказал Радан.

— Обычно.

— Что изменилось?

— Они выдерживают паузу, — сказал Нарек. — Тот, кто бьёт. Каждый раз одинаковую. Я подумал, что, если пойду к ним, мне надо уметь хотя бы это.

Радан посмотрел на Велара. — Окно откройте в пение, — сказал он. — Саврен скажет, в какое.

Он встал и пошёл к выходу, и уже у двери, не оборачиваясь, добавил, обращаясь к Нареку:

— Разницу в массе я забираю. Шестьдесят один килограмм. На обогрев.

* * *

Вирна Нарек встретил под вечер в переходе между корпусами. Тот шёл навстречу, уже без костюма, в обычной одежде, которая сидела на нём хуже костюма, и Нарек, не зная, что сказать, остановился. Вирн остановился тоже.

— Командир сказал, — произнёс Вирн. — Я остаюсь при камере, с этой стороны.

— Мне жаль, — сказал Нарек и тут же пожалел, что сказал.

Вирн будто не услышал. — Держитесь за командиром. Шаг в шаг. Он оглядывается редко, поэтому смотрите на его хвост: куда хвост, туда и он. И первым не говорите. — Вирн подумал, нужно ли что-нибудь ещё, и решил, что нет. — Всё.

Это было больше слов, чем Нарек слышал от него за всю неделю. Вирн ушёл, а Нарек ещё постоял в переходе, повторяя про себя «шаг в шаг», «куда хвост, туда и он», пока слова не легли.

* * *

Дома он ничего не сказал. Сказать было нельзя, и он только объявил за ужином, что на несколько дней уедет по работе, а потом, может быть, ещё дней на двенадцать задержится, потому что будет много бумаг. Мать сказала: «Опять твои слова». Бабушка спросила, куда, и Нарек ответил: «Далеко», и бабушка, которая не признавала новых слов, сказала, что «далеко» — слово хорошее, старое, им можно.

Утром Тали собиралась на занятия и стояла в дверях, натягивая на хвост чехол от пыли. Нарек допивал горячее и, не замечая, гудел себе под нос. Тали прислушалась, а потом, уже выходя, повторила за ним: голос держится, спускается, задерживается на предпоследней ступени и ложится на нижнюю. Неверно, на полтона выше, но ход был тот.

— Это что? — спросила она из коридора.

— Не знаю пока, — сказал Нарек.

Тали пожала хвостом, что у её ровесников значило «ну и ладно», и ушла, напевая.

Глава 9. Ночь перед дверью

У нас умершему вкладывают в руки крест или чётки. Что вкладывают своим они, я узнал позже и запишу на своём месте.

Хроника брата Матиаса

Первое послание Харин записал как рапорт. Это стало слышно только сейчас, ночью, на третьем прослушивании: «Сегодня первые сутки моего отсутствия. Я нахожусь на задании. Обстановка штатная». Голос был ровный и служебный, тот, которым он докладывал Талверу на учениях, и Мирил, который засыпал только под его голос, под такой, пожалуй, не заснул бы. Двадцать посланий лежали в домашнем проигрывателе по порядку, и Лира включит первое завтра вечером, когда дверь за ним уже закроется. Харин стёр его и сел перезаписывать.

Сесть пришлось на кухне, на полу, у плиты, потому что в спальном комнате спала Лира и проснулся Мирил. У Мирила резались зубы. Первые, передние, минеральные, они шли тяжело, как у всех в их роду, и последние ночи он не плакал, а сердито ворчал, тихо и долго, и грыз всё, что попадало в рот. Харин взял его вместе с одеялом, унёс на кухню и дал ему зубной камень — гладкий, тёмный, величиной с половину ладони, который всегда лежал на краю плиты и всегда был теплее всего в доме. Мирил ухватил камень обеими руками и хвостом и затих.

Харин включил запись. — Это первый вечер, — сказал он и остановился.

Сказать про первый вечер он ничего не мог. Его ещё не было. Всё, что будет завтра, можно было сказать только в форме вывода, а выводов он не хотел оставлять сыну, сын их потом всё равно не поймёт. Харин стёр и начал сначала.

— Сейчас ночь перед тем, как я уйду, — сказал он, и это была форма очевидца, и стало легче. — Ты не спишь. Ты сидишь у меня на коленях и грызёшь камень с плиты. Ты держишь его хвостом, потому что руками тебе мало. Мама спит, и мы с тобой разговариваем тихо, чтобы её не разбудить, а ты ворчишь громче меня.

Мирил, услышав голос, перестал грызть и посмотрел вверх, на отцовский подбородок. Рожки у него за последний месяц поднялись ещё немного и были горячие, горячее, чем у взрослого: маленькие всегда горят. Харин потрогал один пальцем.

— Сегодня в институте нас опять взвешивали, — сказал он. — Я тяжёлый. Я самый широкий в группе, и мне перешивали плечи, два раза. Дядя Севар сказал мне: плечи держи сухими, под воду плечом не поворачивайся. Я буду держать. Дядя Севар ворчит, как ты, только он не грызёт камни. Он грызёт тех, кто не умеет руками.

Он помолчал, глядя, как Мирил снова занялся камнем. — Там холодно, — сказал Харин. — Ты не знаешь, что такое холодно. Это когда всё вокруг забирает у тебя тепло и ничего не отдаёт. Там вода ходит сама по земле и падает с неба. Я её ещё не видел, мне рассказала тётя Мерен, она видела сама. Когда я её увижу, я тебе расскажу, как она выглядит, и расскажу правильно.

Ему хотелось сказать: «Я вернусь». В их языке для этого не было формы очевидца: того, что ещё не случилось, никто не видел. Была форма намерения, «я хочу и сделаю», и Харин всегда считал её крепкой, пока не попробовал вложить в неё всё, что в неё сейчас не помещалось. Он сказал её всё равно.

— Я вернусь. Мама будет включать меня каждый вечер, двадцать вечеров. На двадцатый я буду дома, а может быть, раньше. Если раньше, мы выбросим остальные.

Мирил выпустил камень и поймал его хвостом, не дав упасть. Харин засмеялся, коротко и низко, несколько раз подряд выдохнув, и тут же прижал ладонь к груди, чтобы не загудеть на весь дом. Запись это сохранила. Стирать он не стал.

В конце каждого послания он пел. Сначала это вышло случайно, во втором, а потом Лира сказала, что Мирил засыпает на середине песни и, если песни нет, сидит и ждёт её. Песня была

старая, её пела ему мать, ей — её мать, и слов в ней почти не было, потому что для засыпания слова не нужны:

*Спи, пока камень тёплый,
спи, пока дом горячий.
Холод стоит за горами,
горы стоят за нами.*

Харин пел вполголоса, так, чтобы грудь гудела, а не горло, и на второй строке Мирил отяжелел у него на руках, а на четвёртой камень выскользнул у него изо рта и лёг Харину на колено. Харин допел, выключил запись и долго сидел, не шевелясь, чтобы не разбудить.

* * *

Камень был горячий и мокрый от слюны. Харин вытер его краем одеяла и повертел в пальцах.

Когда умер дед, ему было восемь. Деда положили на высоком столе в общей комнате, и вся родня приходила по одному, и каждый приносил с собой камень, нагретый у себя дома, на своей плите, и вкладывал деду в руки, в сгибы локтей, к ступням. Так делали всегда, и так делают до сих пор, хотя в Холод теперь, конечно, никто не верит: чтобы мёртвый, уходя, нёс на себе тепло всех домов, откуда к нему пришли, и не ушёл в стужу пустой. Харин принёс свой камень последним. Он положил его деду в ладонь и удивился, что камень горячее руки. Это было первое, что он узнал о смерти: она холоднее камня.

Он сидел на полу кухни, держал на коленях спящего сына и камень, который был теплее всего в доме, и думал о плечах своего костюма. Потом встал, осторожно, не разгибая рук, отнёс Мирила в спальную комнату и положил рядом с Лирой. Вернулся на кухню, открыл сумку, с которой утром пойдёт в институт, и положил зубной камень во внутренний карман, тот, который будет у него под костюмом, у самой груди. Он сказал себе, что это на удачу. Это было не совсем неправдой.

Лира проснулась, когда он ложился, и, не открывая глаз, нашла рукой его плечо. — Он ел? — спросила она.

— Грыз.

— Камень?

— Камень.

Она помолчала, и Харин подумал, что она снова уснула.

— Ты его взял, — сказала Лира. Это была не форма вопроса. Она слышала, как он открывал сумку. — Привези обратно. Ему ещё все зубы резать.

Глава 10. Дверь

В среду перед Михайловым днём, когда мы пели терцию, брат привратник вошёл в церковь, не сняв деревянных башмаков, и сказал отцу приору, что во дворе опять складывается воздух. Пели не все. Йоханн с Нижней мельницы был во дворе с мукой, и сестра его была с ним.

Хроника брата Матиаса

Новый клапан на линии откачки был тяжелее старого и сидел на четырёх болтах вместо трёх. Велар проверил его в начале смены, потом ещё раз, после того как Севар прогнал откачку вхолостую, и в третий раз — перед тем как идти одеваться, хотя за это время к клапану никто не подходил и подойти не мог: у кольцевого зала с ночи стояли люди Малхора. Севар смотрел на это со своего места у пульта и молчал. Велар был ему благодарен.

Строка давления той стороны висела в сводке на прежнем месте. За тринадцать суток давление там поднялось ещё, опять немного, опять само, и опять ни на что не повлияло. Велар прочитал строку и расписался под сводкой в форме очевидца: всё, что в ней было, он видел сам.

* * *

Галерею над кольцевым залом сделали когда-то для комиссий и с тех пор открывали дважды. Сегодня она была полна. Трансляцию вели с трёх точек, одна из которых, к раздражению Велара, висела прямо над переходной камерой и смотрела вниз, так что в любой момент пол-страны могло пересчитать болты на клапане. За стеклом галереи стояли семьи, отдельно от них — Совет, ещё отдельно — Малхор, один, в серой одежде без знаков, и смотрел он на людей у камеры, по очереди, будто запоминал.

Отец пришёл. Велар узнал его издали по тому, как тот стоял, отставив ногу: панцирь у отца на боку ещё не до конца зарос после котла, и стоять прямо ему было неудобно. Отец говорил с соседом, пожилым членом Совета, и, судя по тому, как сосед отодвигался, говорил про свет в лечебнице. Иларен стояла рядом с отцом. Севил стояла рядом с Иларен.

Велар не стал махать. Он шёл одеваться и по дороге ещё раз поднял голову, и в этот раз Севил подняла руку и положила ладонь на стекло галереи, плашмя, три пальца и четвёртый, и держала её там. Велар остановился. Ответить ей тем же он не мог: руки у него были заняты шлемом, а через минуту будут в перчатках. Он постоял, пока на него не оглянулся Севар, и пошёл дальше.

В раздевалке он переложил из кармана одежды во внутренний карман костюма, под грудную пластину, детский ключ на обрывке шнура.

* * *

Последнее взвешивание было быстрым и молчаливым. Все стояли на платформе по одному, Севар называл числа, Велар вписывал. На Келине табло показало на три килограмма больше, чем вчера, и Велар поднял голову. На правом плече у Келина сидел наплечный записывающий блок, тот самый, сверх нормы, на всю съёмку без перерыва.

— Я разрешил, — сказал Радан, прежде чем Велар успел открыть рот. — Из моих шестидесяти одного. Три килограмма.

— Ты забрал их на обогрев.

— Пятьдесят восемь на обогрев. Три — на то, чтобы потом было видно, что там было. Если там случится то, что я думаю, я хочу, чтобы это видели все, кто будет решать после нас. Если не случится — тем более.

Келин стоял на платформе, глядя прямо перед собой, и края рогов у него горели так, что это было видно через смотровую пластину. Велар вписал число и ничего не сказал. Келин сошёл с платформы; рука его на этот раз к карману пояса не потянулась.

Нарек подошёл последним, с листом, на котором был нарисован круг. — Третье пение, — сказал он. — Считая с первого света. Если я прав, они сейчас собираются. Через сорок минут по их солнцу они будут петь.

— Если ты прав, — сказал Радан.

— Если я прав, — согласился Нарек и замолчал. Радан посмотрел на него, а Нарек продолжал молчать, и Радан, похоже, остался этим доволен.

Велар передал окончательный час открытия дежурному оператору. Установка начала выходить на режим.

* * *

Переходная камера изнутри была меньше, чем снаружи, как всё, что делают с толстыми стенами. Девять человек в тяжёлых костюмах встали в ней в три ряда, маяк на грузовой раме — между вторым и третьим, и места осталось ровно столько, чтобы поднять руку. Радан и Харин стояли первыми, лицом к той стене, которая через несколько минут перестанет быть стеной. За ними Севар и Келин у маяка, Тарил, Мерен. В последнем ряду Илен, Нарек и Велар. Илен стоял, касаясь плечом стены камеры, и Велар не стал ему говорить, что через несколько минут стены у него не будет.

Дверь камеры закрылась за ними и встала на замки. Велар проверил индикацию замков на внутренней панели. Потом ещё раз.

— Три, — сказал Радан по общему каналу, не оборачиваясь.

На канале кто-то коротко загудел грудью — по голосу, Тарил. Велар не стал проверять замки в третий раз.

Откачка пошла ровно. Давление в камере уходило вниз, и костюмы принимали его на себя: Велар чувствовал, как раздувается и твердеет оболочка на груди и на сгибах, как внутренний обогрев переходит с поддержки на работу. Потом пошло охлаждение. Стены камеры, которые Велар видел через смотровую пластину в глубоком диапазоне, темнели, теряли тепло и становились такими, какими не бывает ничего в мире, кроме этой камеры: тёмными до черноты. На канале было слышно, как дышат девять человек. Илен дышал чаще остальных и ровнее, чем на учениях.

— Режим, — сказал снаружи оператор. Голос шёл издалека, из-за стены и стекла. — Окно через сорок секунд. Держитесь ровно.

Гул пришёл снизу, из пола, низкий, ниже, чем слышит ухо, и Велар скорее почувствовал его ступнями, чем услышал. Потом передняя стена камеры поплыла. Она не открылась и не исчезла. Прямые линии на ней — швы, рёбра жёсткости, край смотрового окна сбоку — начали гнуться, медленно, все в одну сторону, к середине, как гнётся отражение в выпуклом металле, а середина отступала вглубь, и глубина у неё была больше, чем могло быть у камеры, больше, чем могло быть у всего кольцевого зала. Велар знал, как это выглядит, по сотням записей. На записях это не вызывало у него тошноты.

Потом середина прорвалась, и в камеру ударил ветер.

Он был холодный даже через костюм. Велар почувствовал, как обогрев рывком ушёл на верхнюю границу, и через мгновение вслед за ветром пришёл свет. Такого света в камере не было никогда. Он шёл из горловины сплошным потоком, такой резкий, что смотровые пластины у всех потемнели сами, но и сквозь потемневшую пластину он резал глаза, как резал бы раскалённый добела металл, если бы на него можно было смотреть. В свете летели мелкие капли и сор. Ветер стих так же быстро, как начался: давление выровнялось.

В горловине, за её неправильными, гнущимися краями, был двор.

Велар видел камни, тёмные и мокрые, с яркими пятнами там, где на них лежал свет. Стену, сложенную из камней, высоко, выше трёх ростов. Землю, покрытую стеблями в каплях. А над стеной не было ничего. Не было потолка, не было мглы, не было той плотной светящейся густоты, которая дома стоит над городом и кончается на расстоянии брошенного камня. Над

стеной была пустота, светлая и холодная, и уходила вверх до самого конца, и конца у неё не было.

— Поют, — сказал Нарек тихо.

Велар прислушался. Сквозь ветер в горловине, сквозь собственное дыхание в шлеме он слышал его — далёкий, ровный, низкий гул, который поднимался, держался и опадал знакомым ходом в четыре ступени. Пели справа, за стеной. Двор, сколько его было видно в горловине, был пуст.

— Окно устойчиво, — сказал снаружи оператор. — Края ровные. Восемь минут по расчёту. Пошли.

Радан шагнул первым. Он вышел в горловину, и его не стало видно на полшага, а потом он стоял на той стороне, на мокром, на свету, и поворачивался медленно, всем корпусом, оглядывая двор, стену, проходы между строениями, как оглядывают здание перед тем, как в него войти. За ним вышел Харин и встал от него слева, развернув широкие плечи к стене. Потом Севар с Келином выкатили маяк, и рама подпрыгнула на пороге горловины, и Севар выругался на канале длинно и по-южному, с подробностями. Тарил. Мерен. Илен постоял у стены камеры ещё секунду, потом оторвал от неё плечо и пошёл, не глядя по сторонам, прямо, к тёмной фигуре Севара у маяка. Нарек.

Велар остался в камере один. Шесть минут сорок по расчёту. Края окна стояли ровно, ни одной дрожи. На той стороне его люди стояли полукругом у маяка, и над ними висела пустота, и где-то справа, за стеной, всё ещё пели.

Он сделал шаг. Стопа ушла в гнущийся свет, его повело, мир на полмгновения перестал иметь направление, и Велар шагнул туда, где по всем его расчётам места не было, и стопа ушла по щиколотку в мокрые стебли.

Часть вторая. Михайлов день

Глава 11. Небо

От них шёл пар, как от загнанной лошади, и пахло серой. Про серу пишу со слов: сам я стоял далеко и ничего не чувял.

Хроника брата Матиаса

Первым делом Мерен присела и положила ладонь на землю. Датчик в кончике перчатки показал число, которое Тарил на ночной смене перестал произносить вслух, и Мерен тоже не стала его произносить. Пальцы заныли через ткань, через обогрев, через три слоя оболочки, как ноют, когда долго держишь руку на холодной трубе. Под ладонью были стебли, мокрые, упругие, и они распрямлялись, когда она убирала руку. Это она отметила первым: стебли распрямлялись. В камере, в боксе, они были сухие и ломкие, мёртвые. Здесь они были живые.

Костюм раздулся. Давления снаружи почти не было, и всё, что держало Мерен внутри в привычной плотности, теперь давило изнутри наружу, и оболочка на сгибах стала тугой, как кожа на перекачанном пузыре. Она знала это по погребу. В погребе над головой был потолок.

Мерен подняла голову, и это была ошибка. Над стеной, высоко, не на потолке, а нигде, висело пятно света такой силы, что смотровая пластина почернела сразу, вся, а пятно всё равно прожгло её насквозь и осталось в глазах, когда она отвернулась: плавающий тёмный след с ярким краем, куда бы она ни посмотрела. Она проморгалась. След не уходил.

— Не смотрите вверх, — сказал Тарил на канале. — Я посмотрел. Не советую.

* * *

Вокруг был двор. Мерен знала его по снимкам ползуна, по разметке в погребе, по ленте, которую складывала всю ту ночь, и не узнавала. На снимках у двора были края. Здесь краёв не было. Стены стояли, высокие, сложенные из подогнанных камней, но над ними ничего не кончалось, и глаз, привыкший упираться в светящуюся мглу на расстоянии брошенного камня, проваливался вверх и не находил, за что зацепиться. Над стеной справа поднималась высокая постройка с острым верхом, и над её верхом тоже ничего не было. Мерен всё время ждала, когда же оно наконец кончится. Оно не кончалось.

Илен стоял у маяка и держался за его раму обеими руками. Мерен посмотрела на него и отвернулась, чтобы он не видел, что она смотрела.

А потом она увидела воду и забыла про небо. Вода была везде. На каждом стебле под ногами стояли капли, по одной на конце, по несколько вдоль, и в каждой горело маленькое отражение того страшного пятна наверху. Камни двора блестели. Между камнями, в низких местах, лежали лужи, и в лужах лежало небо — та же пустота, что наверху, только перевёрнутая, и Мерен представила, что, если наступить в лужу, провалишься туда, вниз, и падать будешь так же долго, без конца. Она не стала наступать. По стене у постройки с острым верхом шла тёмная влажная полоса от самого верха до земли, там, где ночью стекала вода, и полоса парила на свету.

Анализатор на груди потянул воздух у самой земли. Мерен не смотрела на ленту и так знала, что в ней сейчас встанет первым. Маленькая кольцевая молекула. «Мокрая земля. Ночь. Та сторона». Только теперь было утро, и она стояла внутри этой строки своего каталога, а не над ней.

— Кислород пятая часть, — говорил на канале Тарил, ровно, для записи. — Азот. Вода — насыщение у самой земли, выше меньше. Давление, как в погребе, с запасом. Наших газов нет совсем. Ни следа. — Он помолчал. — Всю жизнь мечтал сказать это вслух про какой-нибудь воздух. Оказывается, это неприятно.

* * *

За спиной у неё перестал гудеть пол. Мерен обернулась и увидела, как горловина складывается: края, которые всё это время гнулись внутрь, распрямлялись, и неправильная глубина в середине становилась мельче, мельче, пока не стала стеной двора, обычной стеной, сложенной из камня, с мокрым пятном и стеблями у основания. Ветер, который всё это время тянул к горловине мелкий сор, улёгся. Солома, которую он тащил по камням, легла и осталась лежать.

— Окно закрыто, — сказал Велар. — Связь по щели. Следующее окно — на третьи сутки.

Он сказал это тем же голосом, каким говорил на учениях. Мерен знала, что сейчас на той стороне, в галерее над кольцевым залом, стоят люди, смотрят на пустую переходную камеру и не видят ничего, кроме собственного отражения в смотровом окне. Она подумала о матери. Мать на трансляцию не пошла.

— Сектор, — сказал Радан. — Десять шагов от маяка. Без моей команды дальше не выходить.

Мерен посмотрела туда, где по снимкам должна была быть кладка. Кладка была на месте, в тридцати шагах, круглая, с коробом из досечек на краю. У кладки темнела лужа, та самая, она узнала её по форме, по камню, торчавшему из воды, как зуб. Ползуна в луже не было. Вокруг лужи, в грязи, отпечатались ноги, много раз, маленькие, вытянутые, с одним целым пятном вместо раздвоенной стопы.

— Командир, — сказала она. — Мне нужна кладка. Пробы воды. Там лежал зонд.

— Нет.

— Тридцать шагов.

— Двадцать лишних. — Радан не обернулся. — Зонд, который там лежал, кто-то унёс. Вы видите следы. Я тоже вижу.

Мерен ничего не ответила. Хвост у неё в костюме, она знала, ходил из стороны в сторону, и Радан, она знала, этого не видел, но, похоже, догадывался.

Севар с Келином уже вкапывали маяк. Опоры уходили в мокрую землю легко, слишком легко, и Севар ругался вполголоса на каждую. Келин вертелся на месте, медленно, всем корпусом, и наплечный блок у него на правом плече поворачивался вместе с ним. Тарил отбирал воздух в ампулы, по одной, Мерен видела, как он подписывает каждую стилусом на крышке, неторопливо, ровным почерком. Велар стоял на месте выхода и смотрел на стену, в которой минуту назад была горловина.

Над двором, над острым верхом постройки, прошли летающие. Мерен заметила их по движению: несколько тёмных пятен, неровным рядом, и каждое двигалось само по себе, взмывая, проваливаясь и снова поднимаясь. Они кричали. Голоса у них были резкие, короткие, и Мерен подумала, что лёгкая вещица с осью, которую они нашли в камере, могла упасть с одного из этих. Она проводила их пятна, пока те не ушли за стену. Никакого потолка, на который они могли бы наткнуться, не было, и они не наткнулись.

* * *

Кроме летающих, двигалось ещё одно. Мерен заметила его, когда переключила пластину на глубокий диапазон, чтобы проверить, как держит тепло её собственный костюм.

В глубоком диапазоне двор стал почти чёрным. Камни, стены, земля, вода — всё было одинаково холодным и одинаково тёмным, как всё на этой стороне, и на этой темноте ярко горели только они сами, девять костюмов, отдающих тепло во все стороны, и маяк. И ещё два пятна. Не яркие, тусклые, но отчётливые, теплее всего вокруг. Одно большое, на четырёх ногах, у короба на колёсах возле дальней стены, у низкой постройки с открытой дверью. Второе — маленькое, вертикальное, рядом с большим, у его головы.

Мерен переключилась обратно.

У короба на колёсах стояло животное, огромное, больше любого из них, на четырёх тонких ногах, покрытое коротким волосом, с длинной головой и с волосом подлиннее на шее.

Оно мотало головой, переступало и пыталось отойти от них, назад, и короб за ним скрипел и качался. На коробе лежали светлые мешки. А у головы животного, вцепившись обеими руками в ремни у его морды, стоял человек.

Мерен узнала его сразу, потому что видела его уже сотни раз, на листе, лежащего в середине, под ленты, которые ему не давали. Маленький, ниже её на голову с лишним. Мягкий: ни одной пластины, ни одного шва, ничего, что держало бы форму, кроме ткани, которая висела на нём складками. Голова без рогов, с длинным светлым волосом, заплетённым и перекинутым через плечо. Лицо плоское, маленький рот. И тепло. Этот человек был холодным, холоднее, чем у них умирают, Мерен знала это по расчётам, по снимкам, по всему, — и всё равно он был теплее своего двора, теплее камней и воды вокруг, он горел в глубоком диапазоне слабо, но горел. Он делал тепло сам, изнутри, в мире, который всё время его отбирал.

— Тарил, — сказала Мерен тихо. — Они тёплые.

— Что?

— Теплее среды. Они его производят.

Человек не убегал. Животное рвалось у него из рук, мотало его из стороны в сторону, а он держал и смотрел на неё, прямо на неё, через тридцать шагов мокрого двора. Мерен не двигалась. Она не знала, куда у них смотрят, когда смотрят, и что у них значит не двигаться, и стояла так, как стоят над зверем, которого боишься спугнуть.

Изо рта у человека шёл пар.

Глава 12. Человек

Отец приор окропил их, как велит обычай, и сказал: Vade retro, Satana. Тот, что стоял ближе, повторил за ним слово в слово. Я слышал это сам и записываю, хотя рука не хочет.

Хроника брата Матиаса

Колокол ударил неправильно.

Нарек услышал это сразу. Четыре месяца, четыре тысячи кусков, восемь кучек на круге — он знал этот колокол так, как знают голос соседа за стеной. Тот бил с долгими паузами, ровно, и выдерживал каждую. Этот бил часто, сбиваясь, удар налезал на удар, и пауз не было вовсе. Тот, кто бил сейчас, не ждал, пока погаснет прежний звук.

А пение оборвалось. Нарек слышал его с самого выхода, справа, за стеной, ровный гул, который поднимался и опадал знакомым ходом, и теперь гул оборвался на середине, на подъёме, не дойдя до нижней ступени. Так не обрывают. Так замолкают, когда в комнату вбегают.

— Это не часы, — сказал Нарек на канале. — Это тревога.

— Откуда знаешь? — спросил Радан.

— Пауз нет. Они не дотянули пение до конца хода. Их позвали.

Радан ничего не ответил, но Нарек увидел, как его хвост в чехле медленно лёг вдоль ноги и замер.

* * *

Они вышли из высокой постройки с острым верхом, из прохода с колоннами вдоль стены, из низкой двери, у которой стоял короб на колёсах. Вышли быстро и остановились все разом, в двадцати с лишним шагах, сбившись в одну кучу, как сбивается стадо, когда хищник ещё далеко. Нарек считал. Девятнадцать в длинной тёмной ткани до самых ступней, с одинаковыми тёмными складками у головы. Ещё шестеро в другой ткани, короче и светлее, и у троих из этих шестерых в руках были длинные палки, у одного — с раздвоенным железным концом. Потом из-за угла прохода с колоннами вышел ещё один, в короткой ткани, и встал отдельно от всех, у самого угла, держа перед собой ящик с поперечной дугой. Нарек отметил его и вернулся к остальным.

Они были маленькие. Мерен говорила ему об этом, по листу, по расчётам, и он ей верил, но девятнадцать взрослых, сбившись в кучу, занимали места меньше, чем Севар с маяком. Головы у них были голые, гладкие, у некоторых сверху выбритые кругом, у некоторых с волосом. Лица плоские. И все они, все двадцать шесть, смотрели на девятерых одинаково — Нарек не знал, как это называется у них, но видел, что одинаково, — и ни один не издавал ни звука, кроме тех двоих у короба на колёсах.

Там их было двое. Один большой, по их меркам, светловолосый, в короткой ткани, перехватил у маленького ремни огромного животного и оттолкнул маленького себе за спину, свободной рукой, не глядя, одним движением. Маленький, с длинным волосом через плечо, тот самый, на которого смотрела Мерен, попытался выйти обратно, и большой опять завёл его за спину. Тогда маленький крикнул. Короткий звук, два слога, первый выше второго. Большой не обернулся. Маленький крикнул ещё раз, те же два слога, громче, и большой на этот раз дёрнул головой в его сторону.

— Йо-ханн, — повторил Нарек про себя. Потом вслух, шёпотом, на канале: — Йоханн.

— Что? — спросил Велар.

— Не знаю. Может быть, имя. Он на это повернулся.

Заслоняет, подумал Нарек. Как тот, крылатый, на листе. Тот, кто стоит между.

* * *

— Нарек, — сказал Велар. — Протокол.

— Десять шагов от них, не ближе, — сказал Радан. — Сорен, ты с ним, на шаг сзади и слева. Оружие на ремне, руками не трогать. — И добавил тише, так, что, наверное, слышал один Нарек: — Первым не говорите.

Нарек пошёл. Двадцать шагов мокрого двора, и каждый шаг он ставил медленно, так, чтобы стопа уходила в стебли не сразу. Харин шёл сзади слева, и Нарек слышал на канале его дыхание, ровное, служебное. Куча людей колыхнулась и подалась назад, вся сразу. Тот, что с ящиком у угла, поднял ящик выше. На десятом шаге от них Нарек остановился.

Он медленно опустился на колени. Это было трудно в тяжёлом костюме, оболочка на сгибах сопротивлялась, и он подумал, что выглядит, наверное, как обвал, который садится. Он развёл руки, ладонями к ним, все пальцы врозь. Потом поднёс правую руку к груди, к пластине, туда, где было бы его лицо, если бы они могли его видеть, и сказал во внешний динамик:

— Нарек.

Динамик сделал его голос низким и громким, на полдвора. Куча людей вздрогнула, вся, разом. Кто-то из них коротко вскрикнул. Нарек подождал. Повторил тише: «Нарек», — и снова положил руку на грудь, и снова развёл ладони. Никто не ответил. Молчание тянулось, и Нарек почувствовал, как в нём поднимаются слова, много, бесформенные, — про то, что они не причинят вреда, про то, откуда они, про лист, — и он стал считать промежутки, как тогда перед Раданом, медленно, по одному.

На четвёртом промежутке из кучи вышел старик.

Он был крепче остальных, шире, и шёл, чуть приволакивая ногу, а в руке держал шест с перекладиной у самого верха, высоко, перед собой, так, чтобы перекладина была между ним и Нарек. Рядом с ним шёл худой, моложе, с тёмными пятнами на пальцах правой руки и с лицом, которое он всё время щурил, словно смотрел против света, хотя свет у него был за спиной. А за ними, отставая на шаг, — совсем маленький, тонкий, почти ребёнок, по их меркам, и в руках у него было ведро, небольшое, блестящее, и из ведра торчал пучок сухих стеблей.

Старик остановился в восьми шагах. Он поднял шест с перекладиной ещё выше и заговорил, громко, нараспев. Нарек замер. Старик говорил на одной высоте, а в конце каждой фразы спускался, задерживался на предпоследней ступени и ложился на нижнюю. Ход в четыре ступени. Тот самый. Нарек чуть не засмеялся вслух: так встречают того, кого месяцами слушал за стеной и ни разу не видел.

Старик взял из ведра пучок, окунул его и махнул в их сторону. С пучка сорвались капли. Нарек видел, как они летят, медленно, сверкая, и как падают ему на смотровую пластину, на грудь, на колени. Каждая шипела, касаясь корпуса, и превращалась в крошечный белый клуб, и клубы тут же таяли в холодном воздухе. Больше ничего. Обогрев даже не дёрнулся. Старик махнул ещё раз, и ещё, и говорил, и в его словах повторялось одно и то же, короткое, после каждого взмаха.

Нарек слушал. Первое, чему учат в поле, когда языка нет: повтори. Повтори, чтобы тот, кто говорит, увидел, что его слышат. Нарек сделал это раньше, чем подумал, сделал так, как делал с детства с каждым новым словом, — только на этот раз не под нос, а вслух, во внешний динамик, низко и громко:

— Ваде ретро, сатана.

Старик застыл. Нарек видел, как у него меняется лицо. Не форма — тепло. В глубоком диапазоне лицо старика, до того тускло горевшее, как у всех них, стало темнеть, остывать, прямо на глазах, от лба вниз. Нарек не знал, что это значит. Он не знал, что у них значит, когда лицо остывает. Он видел только, что оно остывает, и что худой рядом со стариком сделал шаг назад, и что маленький с ведром смотрит на него, на Нарека, открыв рот.

Старик выхватил у маленького ведро. Нарек увидел, как он размахивается, и увидел, что вода сейчас будет вся, и не успел даже отвернуть пластину. Справа и сзади от него мелькнуло тёмное, тяжёлое, широкое, — Харин шагнул вперёд, между ним и стариком, и развернулся пле-

чом, чтобы закрыть Нареку смотровую пластину, левым плечом, широким, тем самым, перешитым дважды.

Вода ударила Харину в плечо.

Звук был такой, какого Нарек не слышал никогда. Шипение, высокое, и сразу за ним хлопок, и из шва на плече у Харина ударила вверх и вбок белая струя, плотная, с рёвом, как бьёт газ из сорванного клапана. На канале закричал Харин. Нарек не узнал его голоса. Харин качнулся, сделал шаг назад, второй, наступил на ногу Нареку и упал на колени, потом на бок, прижимая правую руку к плечу, а белая струя била у него из-под руки, сквозь пальцы, и таяла в воздухе, и пахло, Нарек чувствовал через свой анализатор, их домашним воздухом, серой, теплом.

— Давление! — кричал на канале Севар. — Зажми шов, зажми, Харин, двумя руками!

От маяка бежал Илен. Он бежал через открытый двор, прямо, без стены, не глядя по сторонам, с аптечным блоком в руке, и бежал быстрее, чем Нарек когда-нибудь видел, чтобы бежал кто-нибудь в тяжёлом костюме.

Люди закричали. Все разом, все двадцать шесть, и в крике было то, чего Нарек не мог прочесть, — ужас или торжество, или то и другое. Старик стоял с пустым ведром в руке и поднимал перекладину на шесте. Худой рядом с ним стоял и смотрел, не двигаясь, и шевелил губами.

Нарек повернул голову. Радан шёл от маяка, быстро, и на ходу снимал оружие с ремня. У угла прохода с колоннами человек с ящиком поднимал ящик к плечу.

— Командир, — сказал Нарек.

В канале было слышно, как дышит Харин: часто и со свистом.

Глава 13. Первый выстрел

Лиенхард, сын кузнеца из Вальдбаха, держал при монастыре арбалет от волков. Он выстрелил, потому что бес навёл на отца приора свою трубу. Так говорят все, кто стоял рядом. Я стоял рядом и видел то же, но что было раньше, не видел.

Хроника брата Матиаса

Радан шёл от маяка и считал. Двадцать пять в куче у высокой постройки. Трое с шестами, у одного шест с железной развилкой на конце. Двое у короба на колёсах, со зверем, отдельно от всех. Старик с перекладиной и пустым ведром в восьми шагах от Нарека, за ним худой, за худым мальчишка, уже без ведра. И один у угла прохода с колоннами, в двадцати пяти шагах от Нарека и в тридцати от Радана, с ящиком у плеча.

Ящик Радан узнал. Не сразу, на третьем шаге, но узнал: в музее обороны, в зале древнего оружия, висел натяжной метатель, тяжёлый, с поперечной дугой и с жёлобом для короткого стержня, и курсантов водили смотреть на него в первую же неделю, чтобы они запомнили, с чего всё начиналось. Этот был меньше, тоньше, деревянный. Дуга была та же. Он стрелял. С двадцати пяти шагов Радан не имел права считать его безвредным.

На канале дышал Харин, часто и со свистом. Илен стоял над ним на коленях, вжимая заплату в плечевой шов двумя руками, и говорил ровно и быстро, обращаясь к собственным рукам. Нарек стоял на коленях в двух шагах от них. Все трое — лицом к куче, спиной к нему. Все трое — на открытом.

Радан снял оружие с ремня и поднял его. Ствол он вёл мимо кучи, к углу прохода, к одному человеку, и на ходу выбирал, куда: не в грудь, в руку, в ту, которой человек держал ящик под жёлобом, — так, чтобы ящик упал и всё на этом кончилось. Прицел лёг. Человек в прицеле был молодой, круглолицый, без волоса на подбородке, с открытым ртом, и ящик у него в руках ходил вверх и вниз, мелко, всё время. У него тряслись руки. Радан видел такое много раз — у курсантов, у спасателей в первую смену, у самого себя когда-то, — и знал, что руки, которые так трясутся, сейчас сделают что угодно.

— Опусти, — сказал Радан во внешний динамик.

Динамик сделал из его голоса рёв на весь двор. Человек у угла дёрнулся всем телом.

Удар пришёлся Радану в грудь, высоко, слева, и развернул его на полшага. Он не услышал щелчка дуги, услышал только удар — тупой, тяжёлый, как от брошенного в упор камня, — и сразу за ним скрежет: стержень ушёл по грудной пластине вверх, сорвал с плеча антенный блок и улетел куда-то за маяк. Пластина держала. Это Радан отметил, уже снова глядя в прицел. Прицел лёг туда же, на руку под ящиком, на ту же точку, и Радан выстрелил.

Отдачу костюм принял на себя. Звук был короткий и плотный, двор отозвался на него эхом от всех стен сразу. Человека у угла бросило спиной на колонну.

Радан целился в руку. Он попал в руку. Это он увидел сразу, потому что всегда видел, куда попал, — и тут же увидел, что этого не имело значения. Сердечник, который делали против пластин, против тех, кто носит броню на собственном теле, вошёл в человека, у которого не было ни пластин, ни брони, ни шва, ничего, кроме ткани, и прошёл его насквозь, не заметив, и выбил из колонны за его спиной кусок камня величиной с кулак. Человек сел у колонны. Сел медленно, как садятся очень уставшие, вытянул ноги, и ящик лёг рядом с ним на камни.

Двадцать лет Радан выносил тела из обрушений. Он знал, как выглядит тот, кому уже не нужна помощь, даже если тот не похож ни на одного из тех, кого он выносил. Он опустил ствол.

* * *

Куча закричала. Крик был сплошной, без слов, и в нём Радан различал только высоту: тонкие голоса над низкими. Люди бежали. Они рассыпались во все стороны сразу, к постройке с острым верхом, к проходу с колоннами, мимо мёртвого у колонны, через него, и тёмная длин-

ная ткань путалась у них в ногах. Колокол, который смолк, пока старик говорил, снова начал бить, ещё чаще, чем раньше. Огромный зверь у короба вскинулся на задние ноги, рванул, и короб на колёсах опрокинулся набок. Мешки посыпались на камни, лопнули, и над ними поднялось белое облако, густое, медленное, и поплыло по двору к воротам. Радан сначала принял его за дымовую завесу и тут же увидел, что облако оседает: мелкий сухой порошок ложился на мокрые камни белым.

Старик не бежал. Он стоял в восьми шагах от Нарека, держал перекладину на шесте прямо перед собой и говорил нараспев, громко, ровно, на одной ноте. Худой схватил его за рукав и тянул назад, а старик не шёл. Потом пошёл, спиной вперёд, не опуская перекладки и не переставая говорить, и худой вёл его, как ведут слепого.

— Командир, — сказал Велар на канале. Голос у него стал таким, каким он говорил на Совете. — Контакт за мной.

— Контакта больше нет, — сказал Радан. — Угроза жизни. Отходим.

— Маяк.

— Маяк вкопан. Его и мы вчетвером быстро не выдернем, а они тем более. — Радан повернулся к Илену. — Харин?

— Шов я зажал, — сказал Илен, не поднимая головы. — Давление у него половина. Плечо поморожено, под заплатой. Его нельзя держать здесь, на ветру. Нужен угол, где тепло не выдувает, и время.

— Севар, Тарил — несёте его. Келин, снимай всё, на что смотришь, не выключайся. Мерен, Велар — за ними. Я замыкаю. — Он подошёл к Нареку, который всё ещё стоял на коленях, глядя туда, где только что был старик, взял его за скобу на плечевой пластине и поднял на ноги одним движением. — Саврен. Встать.

— Они не... — начал Нарек.

— Потом.

* * *

Выход Радан выбрал ещё на снимках, в погребе, на случай, который, как говорил Велар, не наступит: малая дверь в северо-восточном углу двора, в стене, деревянная, на железных полосах. Дверь была заперта изнутри на брус. Севар, не опуская своей половины Харина, протянул свободную руку, взялся за брус и сломал его, и обломки упали в грязь.

За дверью был склон, поросший стеблями выше колена, а за склоном, шагах в двухстах, начиналась стена, тёмная, высокая и живая, чего на снимках не было, потому что зонды так далеко не видели. Деревья, сказала Мерен на канале, хотя никто её не спрашивал, и голос у неё был ровный, лекционный. Растения, только огромные. Они пошли через склон, открытый со всех сторон, под пустотой, которая висела над ними без всякого конца, и Радан, замыкая, видел, как Илен идёт рядом с носилками, держа руку на плече Харина, и ни разу не поднимает голову.

На опушке Радан остановился и повернулся. Отсюда двор был виден поверх стены, наклонно, сверху. Маяк стоял на месте. Белое облако осело, и по двору у опрокинутого короба тянулась белая полоса, широкая, с отпечатками ног поперёк. Мёртвый сидел у колонны. Колокол бил. Где-то за постройками, с южной стороны, тяжело и долго скрипело и наконец ухнуло: закрылись ворота.

Потом из прохода с колоннами вышли двое. Старик и худой. Старик опустился на колени возле мёртвого, на камни, медленно, сначала на одно колено, на здоровое, потом на второе, и положил ладонь мёртвому на голову. Худой стоял рядом. Старик поднялся, повернулся к маяку и долго стоял так, глядя на маяк через весь двор. Радан смотрел на него в прицел и не опускал прицела, пока старик не ушёл.

До окна оставалось сорок девять часов. В отряде было восемь стоящих и один на носилках.

Антенный блок у него на плече был сорван, и связь со щелью теперь шла через Келина. Радан открыл журнал командира и надиктовал запись, коротко, по порядку, так, как его учили писать в протоколах аварий, где каждое слово потом прочитает комиссия:

«Человек у угла поднял метатель. Я поднял оружие. Я приказал ему опустить. Он выстрелил. Я выстрелил».

Глава 14. Костёр

В ту ночь у ворот жгли костёр и не спали. Брат привратник говорил потом, что видел на опушке беса: тот стоял один, долго, не двигаясь, и смотрел вверх, на звёзды. Я этого не видел. Записываю со слов.

Хроника брата Матиаса

Илен выбрал место из-за ствола. Ствол лежал поперёк ложбины, огромный, мёртвый, вывернутый из земли вместе с корнями, и корни стояли стеной в полтора роста, тёмной, сырой, в комьях налипшей земли. Под ними было почти как в комнате: с одной стороны корни, с другой склон, сверху ветви живых деревьев, сплетённые так густо, что пустота проглядывала сквозь них только пятнами. Почти потолок. Илен развернул аварийный мешок у самых корней. От двора он ни разу не поднял головы.

На мешок Радан потратил половину своих пятидесяти восьми килограммов. В мастерской, когда Илен об этом узнал, он решил, что Радан перестраховывается: мешок на одного, с обогревом, с собственным баллоном и с двумя парами рукавов, вклеенных в стенку, чтобы врач снаружи мог работать внутри. Теперь он раскатывал этот мешок по сырым листьям и думал, что, будь у него силы, он сказал бы Радану спасибо.

Севар и Тарил опустили Харина внутрь. Илен закрыл шов мешка, проверил его дважды, пустил газ. Мешок поднялся, натянулся, стенки отошли от тела. Илен держал глаза на манометре, пока стрелка не дошла до полного домашнего давления, до того, каким Харин дышал с рождения, и только тогда сунул руки в рукава.

* * *

Плечо было хуже, чем он думал.

Заплата держала, но под заплатой, когда Илен снял её внутри мешка и раскрыл плечевой узел костюма, пластины были не тёмные, как положено, а тускло-серые, все в мелких трещинах, будто их окатили из ведра раскалённого шлака и бросили остывать. Где из шва била струя, на пластинах запеклась корка тёмной, почти чёрной крови. Под пластинами ткань была твёрдой. Илен надавил пальцем — палец не продавил ничего. В глубоком диапазоне всё плечо было темнее остального тела, холодным пятном, и края пятна не стояли на месте. Они уходили внутрь, по сосудам, медленными тонкими языками, к грудной пластине.

Это был холод, который вода оставила внутри, когда за полмгновения отняла у ткани всё тепло, какое та держала. Ткань умерла сразу. Теперь она отдавала свою смерть соседней, медленно, по капле.

А ещё был газ. Давление в костюме у Харина держалось на половине несколько минут, пока Илен не зажал шов, и за эти минуты всё, что было растворено у Харина в крови, полезло из раствора наружу. Илен приложил слуховую пластину к груди Харина и услышал в обеих газообменных камерах мелкий сухой треск, сплошной, как будто там внутри сыпали песок на железо.

— Колени, — сказал Харин. Голос у него был хриплый и удивлённый. — В коленях песок. И в хвосте, у самого корня.

— Это газ, — сказал Илен. — Он выходит из крови. Как у горняков, которых слишком быстро поднимают из глубоких выработок. Давление я тебе вернул, он будет уходить обратно.

— Долго?

— Сколько продержит мешок.

Мешок держал хуже, чем обещала мастерская. На холоде ткань дубела, швы пропускали, стрелка ползла вниз, и обогрев, чтобы её удержать, пил из баллона больше, чем Илен рассчитывал. Он подозревал Севара. Севар постоял над манометром, постучал по нему толстым пальцем, будто прибор был виноват, и сказал: четыре часа. Может быть, пять.

— Мне нужно до утра, — сказал Илен.

Севар ничего не ответил и пошёл к Радану.

Радан пришёл сам. Он присел у мешка на корточки, тяжело, посмотрел на манометр, на Харина за прозрачной стенкой, на руки Илена в рукавах.

— Из наших костюмов, — сказал Илен. — Резерв. С каждого понемногу. Подключим к мешку через вентиль, Севар сделает переходник.

— Сколько?

— Сколько дадите.

— По десятой части резерва с каждого. — Радан говорил тихо, как всегда, и так же тихо добавил: — Больше нет. До окна сорок шесть часов, а ночь у них длинная, и я не знаю, какая будет вторая.

— Не надо с них, — сказал Харин из мешка.

Радан не обернулся к нему. Он отстегнул от бедра шланг резерва и протянул Севару первым.

* * *

Стемнело быстро. В глубоком диапазоне это было видно раньше, чем по свету: лес вокруг остывал, стволы, которые днём хоть чуть-чуть отличались от земли, сливались с ней в одну черноту, и в этой черноте горели только они сами — восемь костюмов и мешок, яркий, как плита, с Харинным внутри. Наверх Илен не смотрел. Над ветвями, в пятнах между ними, начали появляться мелкие светлые точки, он видел их краем зрения, но не смотрел и держал глаза на руках.

Харин лежал на спине и смотрел вверх, сквозь стенку мешка. В глазах у него стояли светлые точки, отражение того, что было наверху.

— Их много, — сказал Харин. — Ты видел?

— Нет.

— Посмотри.

— Потом, — сказал Илен. — Дай руку. Другую.

Подходил Велар, стоял у мешка, спрашивал «сколько», Илен отвечал «не знаю», и Велар уходил, и через какое-то время приходил снова. Подходила Мерен, молча смотрела на плечо, наклоняясь к стенке, и Илен видел, что она хочет спросить про холодное пятно, про то, как оно идёт, и не спрашивает. Нарек пришёл и сел у мешка, у изголовья, и сидел, не говоря ни слова, так долго, что Илен забыл о нём. Харин сам повернул к нему голову.

— Саврен.

— Да.

— Это я плечом повернулся. — Харин помолчал, собираясь. — Севар мне говорил, под воду плечом не поворачиваться. Я помнил. Скажи ему, что я помнил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.